Григорий Медынский

ЧЕМУ РАВНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК

человек среди людей

человек
среди
людей

Григорий Медынский

ЧЕМУ РАВНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК?



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1973

32С5
М42

Григорий Александрович Медынский

ЧЕМУ РАВНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК?

Редактор П. Д. Кондюкова
Художник Н. Б Старцев
Художественный редактор Э. А. Розен
Технический редактор И. И. Капитонова
Корректор Е. В. Галеева

Сд. в наб. 22/XII-72 г. Подп. к печ. 4/VI-73 г. Ф. бум. 84×108$^{1}/_{32}$. Ф. п. л. 2,5. Усл. п. л. 4,20. Уч.-изд. л. 4,63. Изд. инд. МПЛ-339. А08144. Тираж 100 000 экз. Цена 15 коп. Бум. № 3.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25. Заказ 934.

Медынский Г. А.

М42 Чему равняется человек? М., «Сов. Россия», 1973. 80 с. (Человек среди людей).

Эта книга построена на материале известной советскому читателю «Трудной книги» Григория Медынского. Читатель еще раз встречается с некоторыми ее героями, за судьбами которых автор книги продолжал следить уже после выхода «Трудной книги» в свет.

Автор размышляет и приглашает читателей подумать над вопросом — чему равняется человек, что он может сделать и всегда ли делает все для того, чтобы стать Человеком.

1—5—6
19—73 32С5

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД АРАГВОЙ

Однажды, вовремя отдыха в Кисловодске, мы с группой товарищей решили совершить автомобильную экскурсию в район Нальчика, к так называемым Голубым озерам и дальше — в Черекское ущелье. Когда мы рано утром трогались с места, погода стояла по-кисловодски солнечная, хотя на севере за Кабан-горою и Малым седлом висела хмарь.

— Ну, Ессентуки заплакали! — тоном знатока сказал шофер.

И действительно, уже на половине пути к Ессентукам, у разъезда Белый уголь эта хмарь нас окутала, потом из нее пошел противный, мелкий дождь, который провожал нас до Пятигорска, и только где-то за Тамбуканским озером, месторождением пятигорских грязей, он наконец от нас отстал. Однако это не утешало. Где-то справа должно было открыться Баксанское ущелье, а за ним, во всей своей красоте,— Эльбрус. В Кисловодске он только дразнил нас, выглядывая из-за плоских гор полукружьями своих вершин, и здесь мы надеялись увидеть его в полный рост, но вместо него перед нами по-прежнему было серое, войлочное небо, тяжело осевшее на землю.

— Ах, как обидно! Как обидно! — сокрушались мы, глядя на эту печальную картину.— Значит, мы ничего не увидим!

За Нальчиком дорога сначала шла по степи, а потом свернула вправо и пошла в горы. С каждым километром мы чувствовали нарастающий подъем, что только ухудшало наше настроение: поднимаемся в горы, а кругом все то же — туман и туман. Значит, все пропало.

И вдруг, точно раздвинулся театральный занавес, туман ушел куда-то в сторону, и открылось небо — чистое, ясное, голубое,— и взгромоздились вершины, сияющие, белоснежные, завораживающие. Оставив машину у Голубых озер, мы пошли пешком туда, к ним. Шли в гору, взбирались на кручи, обходя скалы, с опаской заглядывая в открывающиеся пропасти, а впереди возвышались и манили нас все такие же далекие, хотя, казалось, такие близкие вершины. Мы дошли до перевала, а где-то за ним — новые ущелья и новые подъемы — к снегам! И так захотелось, преодолев все, идти вперед и выше — туда, к вершинам, к небу, к самому солнцу!

Велика сила устремления, без которой невозможна, по сути дела, и сама жизнь!

А кому не известно — тем, кто по-настоящему стремился и достигал,— какова подлинная цена достижений? Как много нужно сделать, чтобы преодолеть и достигнуть, чтобы водрузить знамя на завоеванном рубеже, как нужно экономить дыхание, чтобы вдохнуть глоток горного воздуха вон там, на самой вершине, и какой для всего этого нужен душевный заряд!

Но разве остановить того, кто стремится? И разве забудет, разве может забыть обо всем этом тот, кто по-настоящему стремится? Уметь взять подъем, миновать разверзшуюся пропасть, распознать трещину, притаившуюся под видимой гладью пути, и обойти, преодолеть ее, иметь трезвый взгляд и крепкие ноги — вот что нужно тому, кто стремится.

Правда, все эти мысли пришли мне на ум позднее, когда перед ними открылись совершенно другие высоты и цели. XXII съезд. Он напомнил мне то, что чистым, свежим после дождя утром открылось нам тогда, в Черекском ущелье — фундаментальность основания, дорога, идущая вверх, взлет ажурных островерхих вершин и радостная синева неба.

В самом деле, XXII съезд — это программа не только строек и дел, но и программа человеческих достоинств. Многие из них уже живут и укрепляются в жизни, но их дальнейший рост, формирование коммунистической личности, чистота человеческих отношений — это и есть наши нравственные вершины. И брать их нужно именно сейчас, когда «строительство человека» становится едва ли не первейшей и решающей нашей задачей. А может быть, и действительно решающей, потому что всякое

другое строительство без этого теряет смысл. Будущее немыслимо без человека будущего.

Кое-кому это будущее, может быть, кажется невероятным. Но ведь и «Долой самодержавие!» в свое время тоже казалось невероятным. А сто тысяч тракторов? А электрификация? Все это осуществилось. Осуществятся и наши теперешние мечты и планы: будет коммунизм и будет новый человек — вершина всей истории. Она возникает для одних как призывный маяк, для других — как призрачное видение, почти сказка, но и в том и в другом случае она возвышается над целым хребтом, нагромождением тех самых эпох, через которые шло человечество. Что-то из этих эпох рушилось, что-то оставалось, и осталось, и осело в основании хребта, и мы не можем подняться к вершине, минуя основание. Мы не можем перед предстоящим подъемом не решить самый естественный и трезвый вопрос: а как осуществить его? Как взять их, эти высоты нравственного совершенства? Можно ли взять их одним восторгом, порывом и пусть искренним, пусть самым горячим, но голым призывом: смотрите, как они великолепны и чисты!

Путь к вершинам. Он не так легок и не так прост, и вести туда могут разные пути и разные, иной раз очень сложные и трудные тропы. И недаром Коммунистическая партия всегда ставит вопросы нравственного воспитания человека в ряд важнейших условий успешного строительства коммунизма. После XXII съезда такие вопросы обсуждались и на XXIII, и на XXIV съездах партии.

Вспоминаются вдохновенные строки Пушкина:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины.

С этого «края стремнины» открывается поистине величественное зрелище: горы, горы, горы, те самые сверкающие вершины, которые так манят наш взор и мечту. А внизу — Арагва. И с полной ясностью отсюда, с высоты, видно, как сливаются там две Арагвы: «белая» и «черная». Вот они текут — разные, совершенно разные по цвету воды — и сливаются, и граница их слияния отсюда, сверху, кажется точно прочерченной. А дальше идет просто Арагва, где все смешалось: и белое и черное, и невозможно уже отделить одно от другого, хотя текут в ней все-таки две Арагвы: «белая» и черная».

Так же и в жизни. В ней тоже борются и спорят два потока: светлые, чистые воды добра и черные струи зла.

И вот я стою у начала пути. Можно исследовать истоки высот человеческого духа — это так радостно, приятно и бесконечно нужно. А разве менее нужно другое: перекрыть мутные воды «черной» Арагвы, чтобы они не вторгались в общий поток и не загрязняли его?.. И разве не менее важно пойти — нужно же кому-то пойти и туда, по берегам «черной» Арагвы, и проследить и покопаться, исследовать и попробовать что-то узнать и разведать: откуда же и как, из каких пластов жизни берется эта муть, где и как ее можно остановить, или хотя бы ослабить ее напор, или очистить, просветлить ее воды.

Куда идти? Как идти?

«...В науке нет широкой столбовой дороги... и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам».

Так сказал Маркс о науке. В такой же степени это относится и к овладению вершинами нравственного совершенства. Путь к ним — далеко не столбовая дорога, по которой можно промаршировать под звуки оркестра, это каменистые трудные тропы, где может быть все: и завалы, и провалы, и подъемы, и трещины.

Многое нужно стремящемуся, но, прежде всего, нельзя терять из виду вершины, надо идти к ним, но при том смотреть под ноги — куда ведет тропа, по которой ты направляешь шаг.

Я давно живу на свете, но, чем больше живу, тем становится интересней. Наша жизнь как подъем по горной дороге — с каждым новым ее этапом, с каждым поворотом открываются все новые и новые дали, возникают новые горизонты и цели, а вместе с ними и новые сложности, которые нужно преодолевать. На наших глазах будущее приходит в настоящее и рождается из него и, в то же время, прошлое прорывается в будущее и вступает с ним в скрытую, но злую борьбу.

Сложности! В них — и пафос, и драматизм нашего времени, в них его живая диалектика и поле битвы. И большой веры и непоколебимости, огромного устремления и напряжения сил, разума и воли требует оно от каждого из нас. И честности. В этом-то, может быть, самое главное — честности мысли: разобраться в сложностях, которые тебя окружают, и проблемах воспитания,

которые из них вытекают. А к сожалению, у нас бытует еще слишком упрощенный и односторонний взгляд на этот вопрос.

Воспитывать — не значит посадить перед собой сына и читать ему нотацию. Воспитывать — не значит прочитать лекцию, даже очень интересную лекцию, и думать, что вот проведено мероприятие, и дело сделано: все слушатели будут делать так, как говорил лектор. Воспитывать — не значит сказать: будь таким, делай так,— и все будут делать так. Ах, если бы можно было внушать идеи «прямой наводкой»!

Мы много говорим о необходимости воспитания на положительном примере и совершенно справедливо говорим.

Разве доктор, от которого пахнет табаком, может убедить больного во вреде курения? «Врачу, исцелися сам!» — скажет ему больной словами древнего изречения. Разве отец, пришедший с получки навеселе и решивший по этому случаю «поучать» сына, имеет право на такое поучение? Разве лектор достоин читать лекцию о моральном облике советского человека, если сам он бросил соблазненную им девушку? Разве руководитель может увлечь за собой коллектив, если он сам ведет себя недостойно. Разве писатель вправе писать книгу о благородных чувствах, если он заперся за высоким забором своей дачи с лохматым барбосом во дворе? И какое влияние будет иметь этот доклад или лекция, книга или родительское поучение, если они будут противоречить жизненному облику того, кто поучает? Все это пройдет мимо души.

Одним словом, нельзя воспитывать, не воспитываясь. И не с этого ли нужно начинать? Да, воспитание — это и пример, и контроль, и наставления. И то, и другое, и третье объединяется в емком понятии, оно вбирает в себя и образ жизни, и ее основные принципы, и нравственный воздух, то есть все то, что создает атмосферу, в которой живет воспитуемый и как губка впитывает ее. Поэтому в здоровых семьях, построенных на крепких устоях, и дети обычно бывают хорошие, а в семьях, где все шатается и ползет по сторонам, воспитание лишается своего нравственного фундамента. Точно так же в крепких, здоровых коллективах складываются и здоровые, нравственные люди, а где заведется гниль и грязь, там в этой грязи зачастую тонут и люди.

«У нас?» — грозно заметил редактор против аналогичных слов на странице статьи, которую я однажды написал на эту тему. И я не знаю, чего было больше в редакторском предупреждении — детской наивности или сознательного политического лицемерия? Как будто у нас нет и не может быть плохих, нездоровых, развалившихся или разваливающихся семей. Как будто у нас нет легкомысленных мамаш или матерей, страдающих куриной слепотой безрассудной и неумной любви, развращающей детей, как будто у нас нет и других вещей и явлений, способных отрицательно влиять на людей.

Бесполезно вступать в спор с этими рыцарями обветшалого казенного «патриотизма», причинившего нам так много бед. Нам нужен трезвый взгляд на жизнь, и в том числе на вопросы воспитания на всю их иной раз даже непонятную сложность и глубину.

Вот передо мной письмо Ирины А. Мать Ирины — учительница, бескорыстная, самоотверженная труженица, покинутая мужем, одна вырастившая двух дочерей и стремившаяся привить им все самое хорошее, самое высокое и благородное. И вот в ее адрес взбунтовавшаяся мещанка-дочь кидает потрясающие по своему цинизму слова: «Я ненавижу свою мать!.. Она целыми днями корпит над тетрадями и, поскольку учит всю жизнь, воображает, что умнее ее нет никого... Вечно она ссылается на то, что не может делать дорогие покупки. А книг накупила — класть некуда... Музыку мы можем слушать только классическую. Все остальное — пошлость, гадость. Золя не читай. Ремарка не читай. Тургенев — вот это можно читать, воспитывает благородные чувства... Всю жизнь я, как в тисках... Ненавижу!.. Ненавижу ее за то, что своим жалким учительским трудом она не может прилично обеспечить свою семью, в то время как другие без высшего образования, без этакого сверхусердного труда зарабатывают на модную обувь, на красивую мебель, а мы, «мы не можем, у нас нет денег». У других есть, а у нас нет. Ночи сидеть над тетрадями, решать бесконечные задачи, и нет денег! Значит, недостаточно ума, чтобы иметь хороший оклад... Не могу простить матери то, что от нас ушел отец. Она вечно занята, всегда немодно одета, считает, если все чисто, опрятно, значит, красиво. А вот другая женщина — рыжая, яркая, накрашенная, в модных туфлях, с большим декольте, ко-

торую осуждает наша скромная мама, оказалась привлекательнее и милее, и отец оставил нас, двух девочек, ради этой, с точки зрения мамы, вульгарной женщины. Мама говорит, что она глупа, как пробка, эта женщина, а наша чересчур умная мама оказалась со своим великим умом никому не нужной».

Диву даешься глубине духовного цинизма, почти маразма, до которого дошла эта ультрасовременная финтифлюшка, осмелившаяся из-за модных туфелек и песенок поднять руку на мать, на ее благородный и самоотверженный труд, а вместе с тем и на самые высокие, но, по ее мнению, «обмусоленные и старомодные» нравственные принципы. И все это родилось в ответ на самый положительный пример и личной, и трудовой жизни матери, в ответ на ее стремление окружить детей самыми положительными влияниями и в области моральных понятий и в области литературы, искусства. Из плюса получился минус. Как?

Оказывается, воспитание куда более сложный и многосторонний диалектический процесс, в котором принимает участие очень большое количество самых различных факторов и влияний. Значит, мало влияния одной, пусть самой «положительной» матери. А раз этого недостаточно, то авангардные позиции начинают занимать другие воспитатели: и иначе, видимо, настроенный отец, и просмотренная кинокартина, и прочитанная книга, подружки и мода, пусть самая глупая, но мода. Воспитание, следовательно, вопрос общественный, далеко выходящий за границы семьи. Формирование нового человека происходит не только под влиянием специальной, так сказать, целенаправленной работы, но и всего уклада жизни общества, его обычаев и законов, государственных установлений и социальных отношений, определяющих лицо этого общества. Молодое поколение, поколение строителей коммунизма, надо беречь и воспитывать с детских лет, закалять его в юности и тщательно следить за его ростом, чтобы не было у нас моральных калек — жертв неправильного воспитания и дурного примера.

Следовательно, воспитание не только формирование героев, но и предупреждение уродств, или, говоря математическим языком, не только путь прямого доказательства, но и доказательство от противного, так как и тот и другой путь ведет к одной цели — к утверждению

2 Заказ 934

в жизни нового человека и новых человеческих отношений.

Вот почему в большом и многосложном разговоре о делах воспитания мы не можем обходить то, что составляет нашу муку и боль, — людей трудной судьбы и сложной, тяжелой или путаной души. А может, с них-то и нужно начинать, разобраться и понять, как и почему при всей принципиальной, нравственной высоте нашего общества появляются у нас моральные калеки, как и почему мы несем жертвы на фронте воспитания? А это значит предупреждать и уменьшать эти жертвы, это значит серьезно, сознательно и всесторонне формировать новое поколение людей. Как во всяком движении, нужно обязательно расчистить дорогу, преодолеть то, что преграждает ее и тормозит движение. И уж во всяком случае не упрощать проблемы.

Воспитание нельзя рассматривать как пассивный процесс: я говорю — он слушает и выполняет. «Они думают, что мы не думаем», — сказали раз о таких опекунах-воспитателях смышленые ребята.

Нет, воспитание — это активный процесс, и человек — не только объект, но, в какой-то мере, и субъект воспитания, который участвует в нем как активная, как избирательная в конечном счете сила. Ведь воспитывать нельзя силой, силой можно заставлять. Конечно, заставляя, можно выработать и закрепить какие-то навыки и рефлексы, но это — не воспитание личности. А нам нужно воспитывать личность.

И подлинное воспитание немыслимо без глубокого индивидуального подхода к человеку, как к личности — к реальному человеку, с его ошибками и слабостями, в том числе и к трудному человеку. Оно невозможно без решительной и упорной, часто длительной борьбы за человека, борьбы тоже трудной, может быть с переменным успехом, но тем более радостной, когда она заканчивается подлинной победой. Но как много нужно для этих побед!

Воспитание нельзя строить на простом внушении, с одной стороны, и на бездумном послушании или слепом подражании — с другой, хотя опять-таки и то, и другое, и третье несомненно играет какую-то свою и порой немалую роль. Но это тоже не будет воспитанием личности. А разве нам нужно воспитывать пассивных исполнителей, людей слепой инерции, неспособных на мысль

и дерзания? И тем более нам не нужны бескрылые обыватели, мещане и потребители благ. Нет, нам необходимы люди мыслящие, способные перешагнуть через какие-то рубежи и посмотреть на вещи по-своему, по-новому, нам нужны люди, способные отличить добро от зла и устоять против зла, нужны люди мужественные, способные трезво видеть жизнь и вдохновенно бороться за ее постоянное улучшение, нам нужны активные деятели, творцы и борцы. Поэтому подлинное воспитание достигается и завершается тогда, когда человек сознательно берет то, что ему стараются привить, и делает это своим собственным, частью и элементом своей личности. Из всей совокупности того, что ему предлагает жизнь, воспитатели, школа, книги, он берет то, что ему каким-то образом подходит, что увязывается с его прошлым опытом, запасом идей, с его настроениями, личными особенностями, интересами и т. д. Из всего этого он сам делает свои выводы и, основываясь на них, сам намечает для себя свою жизненную линию, он сам в конце концов делается хозяином своей судьбы и активным членом общества.

И в этом, на мой взгляд, заключается самая главная цель воспитания: пробудить и развить в человеке вот это стремление и эту способность к самовоспитанию, зажечь факел, который будет светить в жизни. «Это идеализм,— сказали мне в одном споре.— Прежде чем зажечь факел, его нужно наполнить». Да, нужно наполнить,— пустая душа гореть не может. Но автомобильный бак, прошу прощения за грубоватый пример, может быть заполнен горючим по самую пробку, а если, говоря шоферским языком, нет «искры́», двигатель останется мертвым. А именно в «искре́», в стремлении к знанию, к внутреннему совершенствованию, к собственному росту и к проявлению себя в обществе,— одним словом, в пробуждении нравственной личности и заключается главная задача воспитания, его критическая точка.

Но до этой критической, завершающейся точки, до появления «искры́» идет длительный и сложный процесс «наполнения души», процесс очень ответственный и важный, которому мы не всегда, и далеко не всегда, придаем значение. Мы, взрослые люди, свое поведение и образ жизни зачастую считаем вполне естественным и нормальным. А всегда ли мы оглядываемся кругом? Всегда ли мы замечаем тех и думаем о тех, кто нас

видит и слышит и кто живет рядом с нами? И прежде всего — всегда ли мы замечаем детей?

У Евгения Евтушенко есть стихотворение «Фронтовик». Годы войны. Мальчик «с верным другом Васькой» попал на шумные деревенские посиделки. Сопя, состукивая снег с огромных отцовских валенок, ребята вошли, и вдруг застыло сердце: перед ними

стоял кумир мальчишек сельских —
хрустящий, бравый фронтовик.
Он говорил Седых Дуняше:
«А ночь-то, Дунечка,
— краса!»
И тихо ей:
«Какие ваши
совсем особые глаза...»

А кругом музыка, свет, водка, махорочный дым и туфли-лодочки девчат, и аккордеон, поддающий ветерка:

и мы смотрели, как на бога,
на нашего фронтовика.

Но фронтовик, которым любовались ребята, связывая с ним все самое лучшее и самое чистое, распоясался, как ухарь-купец, без устали в стаканы водку лил и сыпал разными историями...

и был уж слишком пьян и лих,
и слишком звучно,
слишком сыто
вещал о подвигах своих.

Затем подсел уже к другой и ей повторил те же фальшивые слова: «Какие ваши совсем особые глаза».

Острил он приторно и вязко,
Не слушал больше никого.
Сидели молча я и Васька.
Нам было стыдно за него.
Наш взгляд, обиженный, колючий,
ему упрямо не забыл,
что должен быть он лучше,
лучше,
за то, что он на фронте был.

Кончились посиделки, пьяный фронтовик, «душу вкладывая в плевки», шел, ругаясь, пошатываясь и ударяясь о плетни.

И с детской ненавистью крайней,
в слепой жестокости обид
жалели мы, что был он ранен,—
уж лучше был бы он убит.

Вот она, вся сложность и глубина вопроса: в воспитании играет свою роль и хороший пример, и дурной пример, и весь комплекс жизненных обстоятельств, на первый взгляд как будто бы совсем незаметных, не предусмотренных и часто не предусматриваемых, а детские глаза, которых мы обычно не замечаем, детский ум и детское сердце впитывают все это. Дети перерабатывают и переваривают бесчисленное количество впечатлений и делают свои выводы. Мы наивно полагаем, что они предметы, а они люди, мы думаем, что они ничего не понимают, а они мыслят. А потом мы спрашиваем себя: почему он получился такой, а не другой? В нашей жизни очень много великолепного, возвышенного и возвышающего. Но есть и то, что нужно устранить, что препятствует воспитанию детей в соответствии с нашими идеалами, с корнем вырвать то, что отравляет нравственную атмосферу нашей жизни. Устремление в будущее немыслимо без преодоления зла и пережитков прошлого и наших собственных «нажитков»: ошибок и несовершенств.

Будь таким! Это — непременный, обязательный принцип воспитания, но... обязательный или единственный?

Здесь мы сталкиваемся с основной, пожалуй, опасностью, стоящей перед нашим мышлением,— с опасностью догматизма. Как легко и соблазнительно, взяв за единственный исходный пункт какую-то глубокую, справедливую истину, подтягивать под нее реальную жизнь и как трудно идти обратным, самостоятельным путем — от ершистой реальности к законченности обобщений и закономерностей. Так и в делах воспитания.

Наша эпоха героическая, у ее истоков стояли люди героической, возвышенной души, — значит, пой гимны героизму в расчете на то, что они, как эхо, отразятся в душах людей. Чего проще! Но куда сложнее, да и куда важнее другое: героями ведь не рождаются, и Александр Матросов на своем пути к героизму прошел через воспитательную колонию. Подлинное искусство воспитания в этом и заключается — во взращивании героизма, формировании тех, кто об этом, может быть, даже не думает. Поднять тех, кто не нашел себя и пригнулся

к земле, придать силы тем, кто ослаб, призвать к деяниям тех, кто не знает, что делать, учить преодолевать то, что стоит на пути к героизму.

Разве это не путь к звездам?

Да и может ли быть иначе? Окинем мысленным взором весь ход нравственного развития человечества, и мы совершенно явственно различим в нем два пути, две тенденции этого развития: стремление к добру и отталкивание от зла. Вернее даже, это две стороны одного и того же, двуединого по своей сущности, процесса: утверждения добра и ниспровержения зла. Может ли быть одно без другого? Трудно даже сказать, что из чего родилось, но, на мой взгляд, стремление к добру, даже само понятие добра, родилось из невозможности жить во зле, из отталкивания от него и попыток преодолеть его. Нельзя же жить во всеобщей вражде всех со всеми, просто невозможно жить, если подходить друг к другу с камнем в руке. Это — явное зло. И вот рождается добрый обычай здороваться за руку: «Смотри! В моей руке нет камня! Не бойся меня, я не боюсь тебя. Мы — не враги, мы друзья». Нельзя жить, если сосед может увести из твоего дома и вола твоего, и осла твоего, а заодно и жену твою. Тоже зло. И вот рождается заповедь: «Не пожелай жены ближнего твоего, ни вола его, ни осла его». Добро! Нельзя свергнуть эксплуататоров, если быть разобщенными и в одиночку переносить все беды и напасти подневольной жизни. Большое зло. И вот угнетенные объединяются под лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Одним словом, нельзя утвердить добро, не ниспровергая зла. Примером этому служит социальная революция. Нарушение этого двуединства означало бы бессилие добра перед неприкосновенным злом, а отсюда прямой путь или к религиозному ханжеству, или к утопическому, а потому недостижимому социализму.

Следовательно, можно ли учиться на ошибках других? В частности, можно ли воспитывать на отрицательных образах? Безусловно!

Важен ведь не факт изображения зла, а отношение к нему художника. Мало — видеть зло. Ты должен ненавидеть его и активно стремиться к его разоблачению, тогда изображенное зло начинает бить по самому злу.

Об этих серьезнейших, принципиальных вопросах спо-

рят писатели, думают и читатели. И вот перед нами одно из читательских писем.

«Возьмешь иной роман современности, там и патриотизм, и чуткость, и счастливый конец, и очищение, и отпущение грехов. Оно и видно, что мы идем в коммунизм семимильными шагами и нам некогда срывать сорняки под ногами. Авось засохнут».

Об этой концепции «авось засохнут», лежавшей когда-то в основе пресловутой «теории бесконфликтности», может быть, и не следовало бы вспоминать, если бы она не проявляла признаков жизни и не давала о себе знать, хотя и не всегда достаточно прямо и ясно. И тогда невольно вспоминаются очень интересные слова Ромена Роллана:

«Как много поэтов думают, что они оказали услугу родине, воспевая героизм, самоотвержение, жертву! Но если они верили в них лишь устами, а не сердцем, если они видели в них лишь весело звучащие слова, а не суровую и трудную действительность, если они искали в них свой личный успех, а не благо других,— они унизили героизм, самоотверженность и жертву, а не послужили им».

Как можно воспевать величие народа и не бороться против того, кто позорит и подрывает это величие? Как можно утверждать добро, оставляя в неприкосновенности зло? Можно ли? Можно ли только восхищаться, уподобившись страннице из «Грозы» Островского: «Бла-алепие, милая моя, бла-алепие!» Можем ли мы проходить мимо отрицательных сторон жизни, мимо тяжелых судеб и трудных характеров? Можем ли мы отмахнуться от этих явлений и сделать вид, что они не существуют? Ведь от этого они не перестанут существовать. Больше того, болезнь уйдет вглубь, и тлетворное начало начнет действовать и на других, неустойчивых, восприимчивых к болезни. Нельзя бить врага, не видя врага и, тем более, пряча от него голову за камень, чтобы не видеть.

Видеть зло и молчать — совершать преступление
. . . .
Петь лишь добро, видя мглу,
Равносильно извечно служению злу.

Геворк Эмин

Нет, советский писатель не может, не имеет морального права на подобный подход к жизни. Он обязан ви-

деть ее недостатки, пусть даже самые серьезные. Не ради них самих, а ради той великой цели, путь к которой они преграждают. Чтобы достичь ее, нужны люди сильные, нравственно цельные, люди большой, благородной и красивой души, и наша литература должна способствовать формированию таких людей, утверждению в жизни всего лучшего, передового, сознательного и честного. Но она должна учить и другому: ненавидеть все низкое, злобное, бесчеловечное, ненавидеть и активно бороться с ним, ибо нельзя утвердить добро, не ниспровергнув зло. Всякое другое решение фактически будет означать примирение со злом.

Вертолеты в будущее не ходят. Дорога туда лежит по нашей грешной земле, со всеми ее шипами и обломками. Не видеть или забывать это — значит впадать в благодушие, а сознательно скрывать — значит обманывать и себя, и людей. Дорогу в будущее нужно пробить и, пробивая, нужно расчистить преграждающие ее завалы. Нужно исследовать жизнь. Исследование, осмысливание жизни вообще, мне кажется, является одной из задач нашего времени, как и всякого мыслящего человека. Мы многое сделали, мы очень многое сделали, но у нас было и немало ошибок, кое-что перепуталось и перемешалось, новое вырастает из старого, но старое проникает в новое, а иногда теряются грани между тем и другим, смещаются критерии оценок. Во всем этом нужно разбираться и разбираться!

Нам нужно думать шире и глубже, думать о том, как жить в обществе, как строить отношения друг с другом, думать о вопросах морали, гуманизма, о формировании нравственной, общественной личности, одним словом, нам нужно думать над тем, как воплотить в жизнь наши коммунистические идеалы. Но в решении всех этих вопросов никак невозможно обойти проблемы преступности, где обнажаются все сложности и противоречия жизни. Это вопрос не узкий, не частный и, во всяком случае, не ведомственный, касающийся милиции, прокуратуры и прочих органов охраны общественного порядка. Тем, кто так думает, можно ответить словами пожилого человека, заслуженной учительницы В. В. Кузьминой, у которой племянник, не внушавший никаких подозрений, которому было отдано все внимание и все лучшие чувства хорошей и культурной семьи, вдруг оказался вовлеченным в преступные дела.

«Сознаюсь по чистой совести: пока страшное горе не поразило нашу семью, я глубоко не задумывалась над этими вопросами, хотя через мои руки прошло множество буйных головушек с самыми различными судьбами. Теперь мне кажется, что большинство окружающих меня людей так же равнодушно проходят мимо этого тревожного явления, так как непосредственно дело их не касается».

Но ведь это может коснуться каждого, не говоря уже о том, что каждый может сделаться предметом преступного нападения. И поэтому каждый, как человек и гражданин, должен думать и о путях жизни не с обывательской — «куда милиция смотрит?», — а с широкой общественной и даже исторической точки зрения. Ясно, что хулиганам и ворам в коммунизме не место. А куда мы их денем? Ведь для этого мало их посадить, их нужно искоренить. А каковы пути искоренения? Будучи порождением многих и многих общественных, бытовых и нравственных причин, явлений и факторов, преступность, в свою очередь, является, конечно, фактором тормозящим, влияющим на дальнейшее развитие состояния нравов. Одним словом, это вопрос широчайшего общественного значения, и к нему нужно привлечь такое же широкое общественное внимание.

При взлете к вершинам нравственного совершенства нам нужно многое исследовать, понять, разобраться — в себе, в человеке, в обществе. Да, и в обществе! — я не оговорился. Общество наше живое и растущее, на наших глазах в нем отмирает одно и появляется другое, на наших глазах оно изменяется применительно к требованиям времени и нуждам человека.

ПШЕНАЙ

Расскажу теперь об одной судьбе, чуть не погибшей в разгоревшемся от непотушенной искры пожара.

Память уносит меня к когда-то горячим, а теперь постепенно уходящим в прошлое годам работы над повестью «Честь». Эта работа шла по многим направлениям: начавшись с изучения жизни школы, она перекинулась потом в различные семьи, в отделение милиции, в суд, в прокуратуру, в тюрьму, в исправительную колонию и т. д. и т. п. Но наряду со всем этим я решил испробовать и прием глубокой разведки жизни. Подоб-

но тому как метеорологи исследуют высокие слои атмосферы при помощи так называемых радиозондов, я решил пустить в жизнь свои зонды, которые должны были разведать вопрос, над которым я начинал работать. Роль таких зондов сыграли статьи, помещенные мною в журнале «Юность» и в газете «Комсомольская правда». Я не обманулся в расчетах. На эти статьи читатели откликнулись большим количеством интересных писем. Но самым интересным из них было письмо, полученное в августе 1959 года и положившее начало той переписке, которая насчитывает сейчас уже больше 300 страниц и собрана у меня в красной папке с надписью: «Саша Пшенай».

«Здравствуйте, уважаемый Григорий Александрович! Наконец-то мне удалось узнать ваш адрес.

Попав в заключение, я очень много думал об ошибках жизни и о том, что толкает на эти ошибки, потому что я попал в заключение второй раз. И вот ваш ответ в «Комсомольской правде» — «Как спасти друга».

Прежде всего я обратил внимание на ваши слова: «Не молчать, не проходить мимо»... и далее... «Нет, нам с вами до всего должно быть дело, каждая судьба должна нас волновать и беспокоить». Зная долг писателя, который своим призванием имеет право вмешиваться в жизнь, я решил обратиться к вам, так как эти слова были девизом моей жизни, когда я освободился, после первого преступления, потом это красивое выражение привело меня ко второй судимости и заключению. Я в этом письме не буду вам писать о себе, но, если вы найдете нужным мне отвечать и наша переписка примет неофициальный характер, я вам откровенно напишу о тех огорчениях, которые столкнули меня в пропасть. И тогда вы ответите мне, где справедливость жизни в обществе и в чем заключается истина коммунистической морали».

Я, конечно, ответил, и следом, одно за другим, от Саши пришло несколько больших и содержательных писем, точно натерпелся человек в одиноких думах, и вот — прорвало. Из этих писем, из последующих личных встреч и бесед, из писем родных и товарищей, из писем к товарищам, к родным и к девушкам, из газетных статей и заметок в течение ряда лет, шаг за шагом вырисовывалась предо мною личность этого человека, личность интересная, но сложная, как и сама жизнь, из которой он вышел.

И главное, что, пожалуй, лежит в основе всех его злоключений, это противоречие между суровостями жизни и его очень чуткой, очень правдивой, романтически устремленной, но в этих устремлениях не во всем устойчивой душой.

Семья была сложная, трудная. Нрав у отца был крутой, суровый, даже жестокий. Он бил сына за все — за каждую мелочь, бил розгами, заставлял целую ночь стоять на коленях и читать «Отче наш», сажал в кадушку. А когда паренек подрос, стал учиться, его увлекли книги, мир фантазий, после которых то хотелось стать невидимкой, то самым сильным человеком в мире. Это был новый предлог для преследований со стороны работящего, но крестьянски-ограниченного, живущего только узкопрактическими интересами отца.

«Приду из школы, поем, учебники брошу куда-нибудь, сам заберусь в рожь или в кукурузу на огороде и давай читать, читать. А старик найдет, подкрадется незаметно, и вдруг, как гром среди ясной погоды, колом по спине!»

Но, может быть, с тем большей силой тянуло его в таинственный, необъятно-широкий и волнующий мир книг. Может быть, отсюда росло и противостояло жестокости быта чувство собственного достоинства и устремление «вперед и выше», тяга к людям, к дружбе, к самоотверженности.

Был у Саши друг, Коля Синицын, друг с детства, когда они еще «в ляльки» играли. Только Коля был старше его на год, и в школе шел на год раньше его, и потому в четвертом классе нарочно стал плохо учиться, чтобы остаться на второй год и дождаться Сашу. Вот какая была эта дружба! А когда в школе кто-то совершил грубый хулиганский проступок, и учительница — очень злая — обвинила в этом хулиганстве Сашу Пшеная и велела прислать отца, Коля Синицын решил разделить с ним его участь: «Пойдем, повесимся и напишем записку: «Це не мы!». Пришли в овраг, связали ремни, подстроили камни к дереву и решили тянуть «жеребки» — кто первый? Жребий достался Коле Синицыну, и тогда начались сомнения: «Мама плакать будет. Сестренку жалко». Решили — «нет, не будем вешаться». Такая это была дружба!

Кстати, когда Саша, уже взрослый, пришел к этой учительнице и спросил: «Помните, как вы линейкой били?» — та ответила: «Нет, не помню». — «А помните, как

вы меня обвинили в том, чего я не делал?» — «Нет, не помню». И не отсюда ли пошла та лютая ненависть к несправедливости, которая до сих пор горит в Саше Пшенае?

Так прошли школьные годы, и, когда по окончании седьмого класса отец снова за что-то свирепо обрушился на него, Саша сбежал к бабушке, поплакал у нее, выпросил немного денег и уехал в Одессу. В Одессе поступил в ремесленное училище, и все, казалось, шло хорошо: был старостой группы, вступил в комсомол, участвовал в художественной самодеятельности. Но перед самым окончанием училища, на практике, случилась авария, и Саше выбило глаз. Заканчивал ремесленное училище он уже инвалидом, и начальство, по всем правилам бездушного формализма, не нашло ничего лучшего, как отпустить его на все четыре стороны: распределению на работу он уже не подлежал. Так, на начавшие было заживать душевные раны легла новая и опять незаслуженная обида.

Пришлось искать работу где-нибудь, какую-нибудь. После долгих мытарств устроился на строительство холодильника. Из отдела кадров пришел к коменданту, комендант дал бумажку — направление в общежитие. Пришел в указанную в этом направлении комнату и остановился. Кругом дым коромыслом: на столах бутылки, разная «жратва», на кроватях сидят и лежат здоровые парни в обнимку с пьяными девками. Мест нет. Саша оставил свой чемоданчик, пошел опять к коменданту, возвращается — чемоданчик открыт. При помощи коменданта кое-как нашел место, устроился. На другой день купил, вместо украденных, брюки и рубашку, положил под подушку — снова исчезли. Пошел к коменданту, просил перевести в другую комнату. «Чего тебе еще надо? Где указано, там и живи». Потом украли деньги, а до получки две недели. Пошел к прорабу, попросил аванс: 25 рублей старыми деньгами. «Нельзя, финансовая дисциплина».— «Ну что ж мне, воровать идти?» — «Дело хозяйское».

А кругом — разливанное море: колбаса, ветчина. А главное — живут ребята, на работу не ходят, ничего не делают. Из разговоров узнал: почти все, вышедшие из заключения.

— Что, пацан? Денег нет? Садись, ешь.

Сел, ел, так и прижился у них. А потом говорят:

«Айда с нами». Пошел, даже интерес почувствовал, героем себя возомнил. А как же? Ночь, забор, в заборе дыра. «Постой здесь. Увидишь кого — свистни». Свистнуть не пришлось, никого не было. Получил пять дамских сумочек, продал на базаре, завелись деньги.

Почувствовал, что дело неладное, решил в общежитие не ходить, ночевал прямо на строительстве, разложив на полу деревянные щиты. Ребята разыскали, прислали нарочного, опять звали на дело. Не пошел. Познакомился с девушкой. Хорошая девушка. Лорой звали, десятый класс кончала, отличница. Пошли с ней в театр, купили билеты, пригласил в буфет. Разговорились — о том о сем, о жизни. «А сколько зарабатываешь?» — спросила Лора. Сказал. «А откуда же у тебя такие деньги, чтобы в театр ходить и девушек угощать? Как распределяешь заработок? Что покупаешь? Как обедаешь? Что берешь на первое, на второе?» До всего докопалась и все, как видно, поняла. «Больше не делай этого».

А тут, как нарочно, дали отпуск. Не хотелось домой показываться нищим, да и без подарков являться обычай не велит. А опериться еще не успел. Ребята снова пристали: «Еще раз поможешь, и — концы! Тогда в другую комнату переведут». Видно, с комендантом сговор был.

— И как это у меня получилось, сам не знаю. Малодушие? Нет, не малодушие. Тут что-то больше,— пытается теперь задним числом проанализировать тот свой поступок Саша и не может.

Одним словом, пошел. Ограбили магазин, получил он кирзовые сапоги и отрез на костюм — решил везти в подарок отцу. Подал уже телеграмму о выезде, в последний раз пошел на свидание с Лорой и не дошел, был арестован. А те, настоящие бандиты, думали, что это он «продал» их, и потому все стали валить на него: он в свои восемнадцать лет оказался чуть ли не главным организатором всего дела и получил 15 лет сроку. Возмутился, стал протестовать, буянить, искать правды. Ну, а на это в тюрьме есть управа: штрафной изолятор. Но что значит изолятор для поруганной справедливости? Сашка разделся догола и лег на цементный пол: помру, а свое докажу!

Вот в таком состоянии он поехал в колонию. Перед отправкой приехала мать, привезла передачу. Об этом пронюхали «воры», стали присасываться, запугивать, рисовать безвыходное будущее: «Ты наш!» Но конвоир —

солдат — помнится, его фамилия Киселев — всячески отбивал его от них. Приехали в колонию, начальник командует: «Воры — к ворам, мужики — к мужикам!» «Воры» потянули Сашку к себе, но Киселев опять его не пустил.

А тут, в колонии произошел взрыв: «мужики», измученные насилием «воров» и безразличием начальства, отказались входить в зону, пока не выведут воров. Два дня стояли на снегу против зоны, пока их требование не было удовлетворено. Было сменено и начальство.

Начальником колонии стал капитан Рогов. Он начал больше вникать в дело, лучше относился к заключенным, постепенно сколачивал коллектив, и жизнь пошла другая. Заметил он и Пшеная, его старательность, стремление к коллективу. Порасспросил о всей его прошлой жизни, поверил в него и назначил сначала приемщиком досок, потом десятником и, наконец, бригадиром тракторной бригады. Сашку это еще больше окрылило. По ночам он читал технические книги, ездил в управление, добывал горючее, даже один, без конвоя, разъезжал по колхозам за сеном. Временами даже забывал, что он в заключении, а просто работал и одновременно присматривался к людям, изучал их. Один раз не хватило горючего, это грозило срывом плана лесовывоза. Сашка помчался в управление, поднял ночью снабженцев, к утру привез горючее, а на другую ночь кто-то пробил бочки, и половина содержимого вытекла. Расследовали, искали виновных, обсуждали в коллективе. Больше всех горячился Сашка Пшечай, горячился совершенно искренне: здесь ему открылась правда жизни, здесь он почувствовал дух коллективной деятельности.

«В заключении я уже начал понимать многое и старался жить справедливым человеком, не отставать от жизни, читал политические и художественные книги, газеты. В колонии меня за это уважали. Безусловно, были и огорчения, и трудности, но здесь я шел той жизнью, о которой писали газеты. И вот с такими стремлениями я в 20 лет досрочно освободился».

Вернувшись домой, в колхоз, Саша увидел то, чего раньше как-то не замечал: «Мне тяжело было сживаться с теми недостатками, с какими они живут, потому что я видел и на себе ощутил силу коллектива, который не проходил мимо несправедливости, заботливо поправлял ошибавшегося человека, без обиды указывая на его

ошибки. И я в этом коллективе понял, в чем заключается цель жизни и счастье».

А здесь — даже дико: родной дядя, бригадир, чуть ли не на виду у всех, вез домой колхозные доски, солому, бурак, подсолнух. Используя свое положение, люди злоупотребляли своими должностями и тянули кто что мог. Собрали большую партию арбузов, повезли сдавать государству, а продали на сторону. Хотели втянуть Сашу в расчете на его затемненное прошлое. Он отказался, а когда вопрос об этих арбузах всплыл на колхозном собрании, то выступил и обвинял и председателя, и собственного дядю Степана, бригадира. Но его обозвали тюремщиком и не дали говорить. Сашка пошел в райисполком, попал к какому-то начальнику, и тот ему сказал: «Не вмешивайся не в свое дело, а делай, что велят. А будешь куда писать, все равно к нам пришлют».

За эти поиски правды на него напал и отец. Драться он теперь не дрался, а попрекал: «Мне строиться нужно, у председателя того-другого просить, а ты мне все дело портишь».

И мать ему внушала то же: «Лучше бы ты, сынок, меньше разбирался во всем этом,— и нам, и тебе было бы легче, не надо брать так близко к сердцу, смотри легче на все».

Об этом же потом написал ему и брат:

«Я узнал, как тобою был недоволен председатель колхоза за то, что ты говорил на собрании в клубе, и за арбузы. Но ты учти раз и навсегда, что некоторые критику воспринимают, а некоторые стараются отомстить за то, что им говорят правду. Ты же сам говорил, что все боятся председателю сказать правду, значит, и ты это не должен был делать ни при каких условиях. Из-за этого тебе так горько было жить, чему я сам свидетель, как дядько Степан тебя ругал и вспоминал, колол глаза твоими выступлениями, так что ко всяким бюрократам надо было применяться до времени».

К этому письму была приписка: «Брат мне советует молчать, но поверьте, что я молчать не могу».

Брат оказался прав: те, кому правда колола глаза, искали только случая, чтобы отомстить за нее. А несмышленый Дон-Кихот не хотел «применяться», не познав еще той истины, о которой впоследствии я ему писал много раз: борясь за правду, нужно быть самому кристально чистым, а в противном случае самые подлые

из подлых враги правды, уцепившись за самую малость, за самую ничтожную твою ошибку, именем этой же правды сделают тебя виноватым.

Так оно и получилось.

Несмотря на свои злоключения, Пшенай был веселым, общительным, компанейским парнем, жизнелюбом. С большим увлечением он участвовал в художественной самодеятельности, сочинял с ребятами и девчатами частушки, играл в клубных постановках, вообще всегда находился в центре молодежи и был заводилой разных ее дел. Один раз решили сделать трамплин, чтобы прыгать с него прямо в манящие воды Буга. Но когда попросили для этого материал, никто им ничего не дал. Пришлось попросту стащить одну доску. Потом встал вопрос о гармошке. Гармошка была у одного парня, но он за то, чтобы поиграть вечер, стал назначать самые неимоверные цены. Ребята возмутились: «Мы кто — колхозники или нет? Работаем-работаем, а неужели мы колхозную гармошку купить не можем?» Пошли к председателю, а у того уборочная: «Есть когда мне о вашей гармошке думать!» Ну и надумали, дурные головы, украсть воз отходов кукурузы (которые потом в судебном деле превратились в «элиту»), чтобы на вырученные деньги купить гармошку.

Ну и, конечно, попались, конечно, суд и приговор: восемь лет лишения свободы.

«Кстати» оформлял все это «дело» человек, попавший потом за свои неблаговидные дела на страницы «Комсомольской правды». Маскируя собственные крупные злоупотребления, за которые впоследствии был снят с высокого поста, он создавал видимость работы и поднимал шум вокруг всяких мелочей.

Вот после всего этого, во вполне понятном положении и настроении, Пшенай писал мне свои письма:

«Кругом одни бюрократы и карьеристы, стандартные себялюбцы, которые ради своего благополучия способны на любые подлости. И я от вас ничего не хочу, я у вас ничего не прошу. Я хочу только знать: как жить? И если вся жизнь такая, стоит ли мне отсюда выходить?»

И вот за это — за понимание жизни, за отношение к жизни, за тонус души мне и пришлось, прежде всего, бороться в своих ответных письмах.

«Ты во всем обвиняешь бюрократов. А ты? Сам? Разве нельзя было, например, добиться покупки той же

гармошки другими средствами — общественными, честными и чистыми? Нужно было сговориться с ребятами не на воровство зерна, а на то, чтобы на колхозном собрании общими усилиями добиться удовлетворения требований молодежи. Если бы председатель колхоза продолжал упорствовать, можно было бы пойти в райком комсомола, райком партии там вас, несомненно, поддержали бы. И эта победа над самодуром-председателем была бы вашей общественной победой и большим общественным делом. Вы же пошли по неправильному пути. Никакая цель не оправдывает нечестности.

Отсюда вытекает мой первый, предварительный пока, ответ на твой вопрос о том, как жить. Жить нужно всегда и при всех обстоятельствах честно и к своим целям нужно идти прямыми и чистыми путями».

«Прямые, честные и чистые пути в жизни?.. — отвечал он мне.— А есть ли они?.. Я знаю: сверху издаются законы, подсказанные самой жизнью. Но одни принимают их от души и делают все возможное, чтобы помочь человеку, а другие, довольные своими теплыми местами, не брезгают никакими путями. Они-то и являются теми сучками на дереве, от которых нет никакой пользы, кроме торможения и вреда».

«Из твоих писем мне все-таки не ясно, как ты оцениваешь свои собственные ошибки? Ты их объясняешь и этим как бы оправдываешь, сваливая все на бюрократизм. А сам?» — повторяю я свой вопрос.

«Моя вина заключается в том, что, если б я мог молчать и быть равнодушным ко всему, мне жить было бы лучше. Но поверьте, что жить так, быть кротом и уйти с головой в свое хозяйство я не могу. Лучше мне всю жизнь быть в заключении, но только чтобы не жить такой жизнью. Я пишу то, что на душе, и надеюсь, вы не станете осуждать за неправильность моих рассуждений, потому что я учился всему этому не в школе, не в техникуме или институте, а все это понятие и знание приобрел в обществе, в котором десятки различных взглядов, но из всех этих взглядов я выбрал наш, социалистический, только такой, за который боролись в революцию. Справедливый, простой, непримиримый и т. д.

В газетах пишут об этой жизни, но, мне кажется, нет ее в действительности».

«Все-таки ты чрезмерно мрачно и односторонне смотришь на жизнь,— возражаю я ему.— Конечно, в ней

3 Заказ 934

есть все, есть и то, против чего ты так горячо протестуешь, но видеть только это нельзя. Нельзя видеть в жизни засилье зла, засилье своекорыстных и грубых людей, это неверно. Я не знаю, как обстоят дела в вашем хуторе, но в общем это все-таки неверно. Поверь мне! В жизни есть много хороших людей, прекрасных работников — и с партийными билетами, и без них,— не видеть этого — значит обеднять и жизнь, и самого себя.

В жизни происходит борьба добра со злом, хорошего, советского, честного начала со всякими злоупотреблениями, безобразиями, и честное начало, рано или поздно, легко или трудно, но побеждает. В это нужно верить, к этому стремиться и за это нужно бороться.

И к воле нужно стремиться, Саша! Я никак не понимаю твоего желания остаться в заключении. Нет жизни вне жизни, нет жизни вне народа, в отрыве от общества, в изоляции от него.

Послушай мой дружеский совет. Зарабатывай себе досрочное освобождение, выходи на свободу и начинай работать. Только помни мой первый совет: чтобы бороться со злом, нужно быть самому чистым, как стеклышко. Трудом, поведением, жизнью заработать себе честное имя и тогда с полным правом выступать против любого бюрократизма, против любого безобразника.

Тебе придется многое выдержать, перенести, но иначе нельзя. Поверь мне».

Так долго — больше года — тянулась наша дискуссия. Шла она с переменным успехом: Саша то соглашался со мной, то в чем-то возражал и снова соглашался, и тогда в его письмах появлялись светлые ноты: «Ваше письмо засияло солнцем во мраке моей души».

«Верите, я часто читаю газеты: о коллективах, о том, как люди беспокоятся за судьбу другого человека, и у меня невольно выступают слезы радости, что есть хорошие люди на земле. Побольше бы таких беспокойных людей, жизнь была бы намного прекрасней».

И вдруг опять:

«Вчера смотрел кинокартину «Добровольцы». На экране прошла глубокая жизнь людей. А куда уходит моя молодость, энергия, радость жизни? Почему я должен глушить ее, вместо того чтобы чувствовать душевный подъем? Какая польза, что я живу на земле? Зачем живу? Зачем рождался? Я в тупике, и становлюсь равнодушным к себе.

Не сдаваться, не сломиться, бодрствовать и торжествовать хорошо тогда, когда знаешь, во имя чего жертвуешь своей совестью и жизнью. Стоять твердо, не идти на унижения и не просить прощения. Но когда этого нет, когда не знаешь, во имя чего страдаешь, это нелегко, но это вовсе не значит, что ты нытик и поддаешься дурному влиянию.

Ведь некоторые могут жить просто так, ни о чем не задумываясь, а другие думают, с мучениями, с трудностями, не находя ответа. Кажется, ищем того, чего нет».

«Если просижу все восемь лет, махну на жизнь рукой, буду бессмысленной пустышкой, жить отшельником вне жизни, пользоваться услугами любого зла. В последнее время не читаю ничего, что говорит о стремлении к хорошему, потому что сам не свой после прочитанного, ночь не дает успокоения, я решил избегать этого мучительного состояния. Зачем этот озноб, заставляющий презирать самого себя? Поэтому тот другой мир я сознательно для себя закрываю».

Все это меня очень встревожило, и я послал ему только что вышедшую тогда отдельным изданием шолоховскую «Судьбу человека».

«Я не могу оставить без ответа твои последние письма. В них я услышал ноты, которые меня очень встревожили. В предыдущих письмах ты был бодрее, в тебе била мысль и ты (в чем правильно, в чем неправильно) о многом думал, у тебя чувствовались внутренние силы, являвшиеся основой твоего стремления быть человеком.

В последних твоих письмах я почувствовал какой-то надлом и потерю надежды.

Не нужно этого, Александр! Крепись, бодрись и держи себя в руках! Самое главное для человека — сохранить внутреннюю силу и не сдаться, не сломиться в любых обстоятельствах и на любом ветру. А твои обстоятельства особенные. Если ты сломишься, тебя подхватит и захлестнет та страшная стихия, которая бушует вокруг тебя и которой ты сам в своих письмах отказываешь в человеческом достоинстве».

«Да, действительно, как-то уж очень жутко рисуются предо мной недостатки,— соглашается Саша.— Находясь в плену однообразности и скуки, присоединяя к ним безрадостные воспоминания, вижу во всем такую мрачность! Она, как червь, сосет и глубже проникает, ста-

рается собою закрыть все хорошее, она как бы кричит: «Не смотри туда, вот я, уделяй мне внимание!» Но, повторяю, она не в силах поглотить меня. В действительности я не нытик. Но это даже, по-моему, хорошо, чтобы не забыть ненависть и быть злым и беспощадным ко злу, твердо найдя место в коллективе».

«Поймите меня, Григорий Александрович, я рад бы изменить в некоторой степени свои взгляды, но когда окружают две группы... Одна грязная, тусклая, безразличная, продажная, и человек вращается в этой группе. Хорошее, к чему тянется душа, находится только в газетах, и он тянется к этому чистому, хорошему обществу. Видя это, первая группа твердит: это неправда, это газетное, книжное и т. д. Этим самым забивают в тупик. Вот в таком положении трудно найти дорогу к чистым, идейным стремлениям и целям. Я знаю, вам тяжело поверить в это, ибо вы видите и ощущаете то общество и коллективы, где дружно и искренне желают человеку вообще хорошего.

Да, вы очень правы, что нет жизни вне жизни, но что можно сделать, когда знаешь и понимаешь, что находишься за порогом жизни и нет из этого выхода.

Мне хочется быть человеком, и я стремлюсь к этому. Однако этому мешают циничные рассуждения и т. д. Однако верю: рано или поздно, легко или трудно, хорошее возьмет верх, как вы советуете».

Одним словом, это была очень содержательная и порой драматическая переписка, не позволявшая оставаться равнодушным. Саша Пшенай для меня самого был интересным собеседником, с которым было о чем поспорить, от которого многое можно было узнать и которому можно было вполне верить. В моем домашнем кругу его прозвали «философом» и тоже с нетерпением ждали его писем. И если под философией понимать обобщение, осмысливание жизни, то это прозвание имело свое основание. Под кучей разного рода наивностей и нелепостей я чувствовал у Саши ту натянутую, дрожащую струну, которую не всегда рассмотришь даже у тех, у кого бы ей положено быть по штату, струну живой мысли, поиска, нравственной непримиримости и жажды деятельности, что и составляет лицо подлинного, живого и творящего человека.

И особенно я убедился в этом, когда познакомился с некоторыми побочными материалами.

Вот, например, выдержка из его рассказа о своей жизни еще в деревне, в колхозе.

«Интересно строить из трудностей хорошую жизнь, преодолевая препятствия. Этого вовсе нельзя сказать про нашу бригаду — безынтересно, самоплывом идет вся работа. Председатель, когда надо нажать на что-либо в работе, приезжает и дает приказания. А если ребята что задумают сделать коллективом, с равнодушием бросают, не дойдя до цели. А как обидно, когда человек с душой относится к работе, весь в ней, а со всех сторон встречает равнодушие и безразличие, и у него пропадает всякий интерес.

Не обидно, когда общество добивается, искореняя то, что ему мешает, а обидно, когда люди понимают, что это вредно, и не восстают против этого, и никто не хочет первый заговорить об этом зле, боясь навлечь на себя гнев председателя. Никто не заикнется сказать ему, а скажут — он пожимает плечами: сейчас, говорит, не время заниматься этими мелочами, надо на уборку. А из этих мелочей складывается большая горечь».

Вот письмо к девушке:

«Здравствуй, многоуважаемая Галя!

С приветом и крепким рукопожатием к тебе Шура.

Получил твое письмо, за которое большое спасибо. Из него я сделал вывод, что ты меня не совсем правильно поняла. В чем? Дальше поймешь. Давай на вещи, окружающие нас, будем смотреть здраво, в широком масштабе. Для этого представим, что мы ушли в тот период, когда завоевывалось будущее для нас жертвой молодости, юности, когда отец жертвовал сыном, а сын — отцом во имя той справедливой жизни и тех идей, за которые ведет борьбу ЦК КПСС. Сколько книг, кинофильмов, лекций посвящено борьбе за то, чтобы гордо произносить имя человека. И это, Галя, не агитация, не политика власти, а это правда, ибо я встречал много людей, которые подтверждают, что все это было. Теперь ты поняла, да, наверное, и понимала, какие трудности, голодовку, разруху, анархию перенесли люди ради того, чтобы теперешняя молодежь жила честной, справедливой жизнью...

Я хотел в письменном разговоре убедить и доказать тебе, что счастье не в личной жизни, а в том, чтобы тебя уважали, чтобы ты не мирилась с недостатками и чтобы помнила всегда тех, кто погиб во имя народа. Правильно

и то, что многие, как ты говоришь, окончат десятилетку, погуляют немного, распрощаются с юностью, то есть выйдут замуж и уйдут в личную супружескую жизнь; боюсь, что их не порадует уже ничего, кроме дома, нового платья и хорошего хозяйства. Кое-кто позабудет о достоинстве человеческой жизни, научится делать подлости, сживется с недостатками, обюрократится постепенно и будет наслаждаться личной жизнью.

Я не хочу, чтобы ты жила такой жизнью, я хочу, чтобы вскрывала недостатки, с презрением относилась ко всему, что мешает проводить правильную политику ЦК, не закрывала глаза на ту несправедливость, которую видишь, чтобы ты была среди живой, энергичной работы, среди людей, умела разбираться в политических и научных вопросах, и тогда, если ты докажешь что-либо и сделаешь, тогда увидишь, какое счастье, когда тебя за труд и настойчивость уважают сотни людей. Разве можно счастье коллектива променять на личное счастье? Да никогда в жизни!

А у меня закон: жертвовать собой, своими интересами в пользу другого человека. У меня личные интересы жизни стоят всегда на заднем плане, для меня звание человека превыше всего. Я могу за судьбу обиженного человека пойти на все и быть беспощадным к человеку с легкомысленным взглядом, который не умеет настойчивостью и трудом заслужить авторитет в окружающей среде. Я люблю труд и, когда делаю что-либо тяжелое, нахожу в этом утешение, если вижу в том, что делаю, какую-либо пользу. Но когда труд бесполезный, у меня нет никакого настроения его делать. Я здесь работаю монтажником-контролером по сборке зернопогрузчиков и ветряков. Мне работа нравится такая, где всегда надо вперед обдумать все самому. Возможно, нравится и тем, что она такая беспокойная и энергичная.

И о том, Галя, что ты счастлива со мной будешь, я этого тебе не скажу. Ведь говорить о любви и читать и писать о ней любят многие, но любить... Многие считают не излишним любить, но почему-то женятся на выгоде, на приданом. А поэзия говорит, что любовь — это душа жизни. И именно так надо любить! И вот наш идеальный юноша или наша идеальная девушка ищут, в кого бы влюбиться. По долгим собственным соображениям влюбляются в глаза, в лицо и другие качества. Начинается комедия. . . . .

А со мною ни ты, ни другая девчонка никогда не была бы счастливая: я не умею криводушничать, и, вообще, у меня нет той черты, которую любят девочки, я не могу легкомысленно смотреть на любые вещи. Да и понятия о жизни и у тебя и у других противоречат моим. Вам очень тяжело меня понять. Правильно ты написала в одном из своих писем, что ты кончаешь десятилетку — и больше ничего, обыкновенная сельская девчонка. А то, что я перенес в свои юные годы, для вас вообще будет романтическими приключениями и фантазией. Хотя я родился на хуторе, но я видел и пережил то, чего любому и во сне не приснится, и хотя юность провожу в среде преступников, но и оттуда выхватываю все полезное для жизни.

Вот я иногда думаю: разве для того люди погибали, сознательно шли на смерть, чтобы о них забыли в радостях личной жизни. А у нас на хуторе могилы погибших воинов заброшены, обросли бурьяном и т. д.

Не подумай, Галя, что это я так рассуждаю из-за того, что в книгах и газетах такие темы. Вовсе нет. Во всем этом я убедился сам и сделал вывод из прожитой жизни: к тем, кто мешает проводить нашу политику в действие, тормозит ее и искажает, у меня нет никакого снисхождения. Поняла? У тебя может возникнуть сомнение, что преступник может так рассуждать. Да, это я пишу от души, откровенно, всю правду.

Кстати, о газетах. Я очень жалею, а по письмам вижу, что ты очень мало внимания уделяешь им. Газета всегда ответит на любой вопрос, если ты вдумчиво будешь ее читать. Газета вскроет любую тему и научит, как надо поступать. Я иногда прочту какую-нибудь интересную корреспонденцию и, очарованный этой темой, хожу до отбоя.

Не знаю, поймешь ли ты, что я хотел выразить, и я знаю, что сказал сжато, я бы на эту тему написал целое произведение. То, что думаю в отношении жизни, я выложил, возможно, кое-где не так, как хотелось бы, но ничего не сделаешь. Хочу одного, чтобы ты поняла, на что надеяться в жизни, ведь ты комсомолка».

А вот еще документ. Читатель, может быть, помнит, что в «Чести» Слава Дунаев имел листочки, на которые записывал все приходящие ему в голову мысли. Эти листочки перешли к Славе от Саши Пшеная. Это он прислал мне несколько десятков таких листочков

с припиской: «Григорий Александрович, очень прошу, разберитесь хорошо во всем и напишите, как мне быть дальше.

Я хочу всегда делать людям хорошо, жить дружно с ними, доверяю им, а они смеются, обкрадывают меня ужасно.

Поймите, что вы по письмам знаете меня больше, чем родной отец. Я вам доверяюсь во всем, но одновременно не подумайте, что я заискиваю перед вами или хочу, чтобы вы помогли мне. Я хочу видеть правду и справедливость...

После того что я вам открыл душу свою, очень прошу — уделите мне внимание, дайте ответ и, если мои письма вас обременяют, прекратим переписку».

Некоторые из этих листочков я и хочу здесь привести.

«Понятна ли мне жизнь? Да, я могу твердо сказать, что по газетам, лекциям понятна — очень хорошая жизнь. Но я наблюдаю другую жизнь. Вот и пойми ее, когда так много противоречий в жизни. Наблюдаешь жизнь крота, раба жизни: они мечтают о хате, корове, свинье, работящей жене, они считают свою жизнь идеальной, счастливой, лучшей жизни им не надо и гордятся ею. А я такую жизнь ненавижу и этим самым отталкиваю от себя тех, кто меня окружает».

«Как хочется жить не кротом, не рабом, а человеком. Ведь годы идут, а я еще не осуществил намеченных целей в своей жизни».

«Есть люди, которые идут на все подлости, хотя в речах, выступлениях у них есть черта честного стремления. Но честный ли он? Нет, его душа загрязнена сделками со своей совестью, и он заглушает ее в своих выступлениях. Это ему тяжело дается, но он настырный».

«Все мечтают о счастье и не видят его, закрывают глаза и отворачиваются от большого, справедливого счастья, упиваясь маленьким и ничтожным. Но скажи им, что они не видят своего большого счастья, они недовольно взглянут, как бы говорят: зачем ты мешаешь нашему счастью!

Действительное счастье находишь в плодотворном труде. Это настоящее счастье! Разве можно его променять на мотоцикл или велосипед?»

«Как отвратительны кажутся те люди, которые отрываются от коллективных стремлений и целей».

«А есть люди, которые ни над чем не задумываются в жизни, легкомысленные, без всяких взглядов. Существуют! У них нет ни стремлений, ни определенной точки зрения. Таким легко живется, но лучше так не жить».

«Как тянешься к тому человеку, в котором все выглядит просто. Он покоряет своей простотой в одежде, в разговоре. Он прост, и его уважают все. А другой всем старается показать свое превосходство над другим человеком, этим самым отталкивает от себя людей».

«Верно или нет мое понятие, но мне кажется, что на любую повседневную вещь можно смотреть с двух сторон: с одной стороны, любоваться ее изящной, привлекающей поверхностью, а с другой — стремиться глубоко узнать ее сущность. Так и у людей. Мне очень хочется узнать, какой у человека образ мысли, какие у него страсти, желания, чувства, стремления — словом, все, что составляет человека, что дает его видеть во весь рост».

«Иногда бюрократизм очень жестоко выводит из прежней уверенности человека, особенно юношу в 15—18 лет. Он может в два-три столкновения с бюрократически-формальным взглядом потерять все свое убеждение, сформированное в юности и детстве. И вот в такой душевно-переживательный период его может вовлечь любая волна людей; так случилось и со мной. О, когда человек в душевно-болезненном состоянии, он теряет очень часто всякий интерес к окружающему, становится равнодушным ко всему. Эта болезнь забирает всю его энергию, весь интерес, вернее, поглощает его всего, заставляя ненавидеть людей. Из этого оцепенения очень часто может вывести любовь девушки, какая-нибудь душевно ободряющая весть или слово, и у него появляется тогда интерес».

«Тюрьма не исправляет человека, а часто губит его. Если у человека отобрана свобода, то, значит, на это время он лишен жизни. Самое большое счастье на земле — это жить на свободе».

Выписки из прочитанного

«Богатство — излишняя роскошь — это кража, совершенная у других».

«Ложь развращает того, кто ею пользуется, гораздо раньше, чем губит того, против кого она направлена».

«Творить — значит убивать смерть».

«Надо пройти через ужас, чтобы уметь распоряжаться жизнью и увидеть ее красу».

«Для меня в литературе выше всего стоит критика Белинского. Он покорил меня всего глубиной и лаконизмом своих мыслей и высотой моральных убеждений».

«Ничто так не облагораживает юность, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес».

«В жизни две стороны. Одна внешняя. Но есть жизнь другая, жизнь внутренняя, душевная, это и есть истинная жизнь. В ком есть она, тот занимается внешней жизнью и заботится о ней только настолько, чтобы она не лишала внутренней».

Я не знаю, нужны ли здесь комментарии? Диапазон интересов, широта, а иной раз и глубина мысли раскрывают здесь напряженную внутреннюю жизнь интересного, содержательного человека, находящегося в тяжелейших, совершенно не соответствующих этому условиях.

Вся наша переписка с Сашей порой приобретает драматический характер.

«Время провожу мучительно жутко. Хожу все время в каком-то ознобе, в растерянности. Нет писем ни от кого вообще, а это угнетает больше всего. На дворе такая безрадостная осень, и в душе холод и отвращение к жизни. Еле хватает терпения к такому существованию. А ведь еще восемь лет надо как-то существовать!

Сколько на жизненном пути встречаешь обмана и лживости, что грубеешь и в некоторой степени становишься сам таким. Хотя сперва удивляешься и задумываешься над этим».

«Где счастье? Какой смысл жить в этой мрачной жизни?

Я вечерами бродил и не находил себе покоя. Одно говорили газеты. Я им верил, они отвечали на многое, у меня были слезы радости за людей. Но на некоторое время я перестал верить и им. А сейчас, в канун своих 24 лет, вообще становлюсь равнодушным к этому, не узнаю сам себя, все исчезает, приходит равнодушие, которого я боюсь».

«Как жутка эта опостылевшая жизнь, какие противные, жалкие, низкие люди. Живут, ничем не интересуясь, кроме своей работы и денег. Ужасно тяжело переносить жуткость этого безобразия. Один побил другого, поднял табуретку и со всей силой ударил по голове: и все из-за домино.

Каждый вечер, когда ложусь спать, думаю о себе, и ищу — чего, сам не знаю. Не может же быть, чтобы я родился и мучился всю свою жизнь «просто так». Есть же люди, которые прожили свою жизнь, не зная, что такое грусть, с их лиц не сходит улыбка человека, знающего цену и красу жизни. Можно ли прожить без борьбы в самом себе?

Сколько в жизни огорчений и зла, и, чтобы не видеть этого, надо быть глупым слепцом. А чтобы бороться с ними, надо быть сильным человеком, а это не просто. Пройдя все это, чувствуешь себя радостно, что ты нужен жизни».

И Саша стремится быть нужным жизни, даже здесь, в заключении, старается помочь своим товарищам по несчастью и вмешаться в их судьбы. Вот его письмо к матери одного из таких, потерявших опору в жизни, людей.

«Здравствуйте, уважаемая!

Извините за внезапное, беспредупредительное вмешательство в жизнь вашего сына.

Не подумайте, что цель этого письма защитить Савву и отвлечь ваш гнев от него. Познакомившись с жизнью вашего сына и вашими поучительными письмами, я решил написать вам. Я не собираюсь доказывать, но в поведении Саввы есть немало и вашей вины. Я знаю, что в это трудно поверить, но теперь он совсем другой. Он очень крепко задумался о своей жизни, я ему помог немного разобраться во всем. Он очень хорошо сейчас себя ведет, ходит в школу, много читает, бросил свои связи со шпаной, и ему очень обидно, что вы по-прежнему ему не верите. Я вас прошу, поддержите его морально, ему сейчас очень нужна моральная, материнская помощь».

Чтобы не погрязнуть и не погибнуть в окружающей его среде, Саша работает, учится в школе и очень много читает. Он прочитал почти всего Горького, Драйзера, Шишкова, Шолохова, Алексея Толстого. «Сколько есть хороших книг — не перечесть! — пишет он в письме к знакомой девушке.— А главное, это — помогает не брать, не прививать, а отталкивать от себя все низкое, грязное, что бродит вокруг тебя, что сидит и спит рядом с тобой».

«Я пытался выбрасывать из памяти, что не нужно для будущей жизни, но, к сожалению, это вообще невоз-

можно. Ибо то, что видел и слышал, что оставило тяжелый отпечаток в твоей жизни, можно ли забыть?»

Теперь он участвует в выпуске стенгазеты, избран председателем молодежной секции, одним словом, живет настоящей, полнокровной жизнью, насколько это возможно в тех условиях.

«Не подумай, что если я нахожусь в заключении, то я на свою жизнь махнул рукой,— пишет он брату.— Нет, Валя! Я живу, как надо жить человеку: хожу в школу и все свободное время читаю. Свободного времени много. Не подумай, что я рад этому. Нет, я работать хочу, это для меня какое-то увлечение. Возможно, это звучит для тебя странно, но работа мне не страшна. Сейчас я нажимаю на химию, физику, алгебру и т. д. С алгеброй дела плоховаты, плохо понимаю, так как позабыл все, что знал.

Нет, Валя, не безразлична мне жизнь, хочется, и крепко хочется жить, но не так, как Дон-Кихот. Я не знаю, откуда у тебя сложилось мнение, что я стараюсь жить, как какой-то герой прочитанной книги. Разве подражать какому-нибудь умному действующему лицу, по-твоему, преступно и глупо? Я с этим не согласен. У таких, как Овод, можно учиться вырабатывать характер».

Так подготавливалось очень важное, как бы итоговое письмо, датированное 18 декабря 1959 года.

«Вы должны понять, какое чувство у человека, у которого безрадостное детство и юность полны обид и оскорблений, а если где были просветы, то они такие мимолетные, что не оставляли никаких впечатлений. И впереди нет никаких перспектив. Вот я и решил обратиться к кому-нибудь услышать ответ: так ли оно должно быть в жизни? Хотя заранее знал, что услышу ответ: «Нет». Другой жизни я не знал и не понимал, ибо то время, когда человек начинает формировать свои понятия, провел в колонии. Из-за того, что я из колонии, не зная моих понятий, меня вводили в курс всяких сделок. Я начал возражать. В меня бросали грязные слова, уничтожающие человека, и я не мог, не имел права сказать что-то против.

Знаете, я какой-то такой, что не могу за себя постоять во всем, но, если обидели кого-то другого, я его буду защищать, как смогу. Есть такие люди, что на все, что касается их, они только смотрят и не защищаются. И я еще на свободе думал: возможно, я вправду не

такой, как люди, мне нельзя жить на свободе?

Вот почему я так подробно и без стеснения старался выложить все вам. И можете быть уверены, если бы вы написали, что жизнь подла и за нее не надо бороться, я бы никогда не стремился на свободу. А сейчас я очень и очень сильно сожалею, что совершил ошибку и дал возможность им зацепиться за меня. Теперь я понял, что играла главную роль не тяжесть моего преступления, а пусть незначительная, но ошибка. И мне очень хочется доказать, что я не вредный элемент.

Мне один человек (он заключенный) говорил: «Для того, чтобы не попадать и не мешать жить другим, надо идти работать и жить в лесу, в одиночестве». По-моему, это человек, который уже сдался.

Я, когда освобожусь, тогда, наверное, начнут строить плотину через Берингов пролив, и я сразу поеду туда. Во всяком случае, мне больше всего нравится строительство. Что есть лучше? Мне кажется, ничего. Это замечательно — строить на земле новое».

Все как будто шло хорошо: полный анализ прошлого, перспектива на будущее — все в порядке. И вдруг ровно через месяц что-то совсем другое, неузнаваемое.

«И все-таки не верилось до сегодняшнего дня, что воспитатели мои — подлецы! Именно этот день дал твердое основание в таком решении. Вы можете подумать, что это я пишу в порыве гнева. Нет! Дело не в этом, но зачем они, чиновники, делают из меня преступника? Главное, с корнями вырывают ёще не окрепшую веру и заставляют идти на крайность... Теперь меня утешать не надо, я свою энергию направляю в другом направлении. Скажете, буду жалеть о жизни? Нет. Не буду. Буду мстить самому рассаднику этого зла. Хотя, возможно, смерть придет раньше, чем я освобожусь. Вы знаете мою жизнь, но не знаете твердости моих решений и как я упорно иду к намеченной цели. Я не верю ни в судьбу, ни в счастье, человек сам руководит им, и от него зависит: будет оно ему улыбаться или сбросит в трясину. С этого времени я не буду стремиться на свободу, и, если вызовут, может, еще я им открыто скажу: «Меня освобождать не надо». А если выгонят, я сразу сознательно сделаю преступление. Жалеть уже мне не о чем, у меня слишком много отобрали и растоптали, вырвали из души и выбросили на свалку все, что помогало жить. Я так сильно пережил их отказ.

Я прежде времени потерял молодость, и на ее место пришла несвоевременная старость, а это в конечном итоге дает живой труп, то есть тень человека. Как вы ни говорите, а все в этом мире продажно и фальшиво и до того грязно и подло, что хочется бежать без оглядки. Пусть вас это письмо не удивляет, но если вам придется услышать обо мне, чтобы вы знали, что на такой шаг я пошел сознательно, и немалая вина в этом будет на их совести. Я не могу никому это написать: некому, кроме вас. Но не подумайте, пожалуйста, что я хочу вызвать, чтобы вы вступали за меня в борьбу. Теперь уже поздно. Прошу, если будете писать ответ, не утешать и не разбивать моего решения. Пусть все будет так. Не надо мне мешать скатываться вниз.

Большое спасибо за все, что вы старались сделать для меня. Извините».

Через день — новое, еще более истеричное письмо:

«Все смешалось, мысли не работают, выходит наружу одна накипевшая за все время злость. Я вам пишу искренне, от души: теперь не хочу освобождаться. А для того, чтобы я стал преступником, надо всесторонне все обдумать. Я не буду с этого времени человеком и сам буду избегать стать им, не потому, что трудно и за него надо бороться, а потому, что я всего себя уже израсходовал. Мне осталось заглушить одну совесть, чтобы не краснеть. Я, прежде не могший обидеть курицу, буду мстить со всей жестокостью. А остальное со временем, при обстоятельствах придет само.

А прежде всего мои мечты, когда освобожусь — просить, умолять, чтобы разрешили уехать отсюда вообще. А если будут нужны данные, я им расскажу все. Если же не пойдут навстречу, я сознательно пойду на преступление: пал или взял».

В чем дело?

А произошло вот что. В политике по отношению к преступности тогда повеяло теплом — были созданы правительственные комиссии по пересмотру уголовных дел, и многих стали передавать на поруки коллективам. Но так получилось, что хорошее дело было испорчено неразумным, бюрократическим осуществлением, и вот на глазах у Пшеная стали выходить на свободу люди совершенно недостойные, опасные для общества, а он... А у него получилась заминка. О взятии на поруки нужно было просить того самого председателя, из-за которого,

как считалось, он и попал в заключение, и на успех в этом деле он никак не рассчитывал. Но нужно было сломать себя и просить. А тут появился ряд других, осложняющих обстоятельств, описанием которых мне не хочется затруднять читателя. Видимо, была допущена какая-то нетактичность, даже грубость со стороны администрации. И вот Сашка взорвался, вышел из актива, из бригады, поругался с начальником отряда и написал мне, одно за другим, вот эти самые сумасшедшие письма.

Я ему немедленно ответил:

«Слушай меня, Александр!

Если веришь мне, то слушай! Человек волен в своей судьбе, и, если хочешь, ты можешь броситься в омут головой. Пожалуйста! Дело твое! Но помни, что в мире от этого ничего не изменится, а жизнь человеку дается один раз. Думай! Тебе пришла пора всерьез думать над собой.

Чем ты грозишь? Тем, что ты станешь преступником? Что ты, боявшийся тронуть курицу, будешь убивать. Кого? Людей! Из-за чего?! Из-за того, что тебя обидели, тебя не поняли. Неужели ты не понимаешь, как это гадко и недостойно человека? Ты собираешься убить в себе совесть, но неужели ты не понимаешь, что человек без совести уже не человек?

Я лучше о тебе думал, Александр!

Ты собираешься уехать в чужой мир и что-то сообщать им о наших неполадках. Ты собираешься бежать на чужбину — из-за чего! Из-за того, что тебя кто-то обидел. Неужели ты не понимаешь, как это гадко и низко?

Я переписываюсь с одним заключенным, имевшим в прошлом два приговора к расстрелу. И знаешь, что он пишет: «Разве я родился в Америке? Да мне дороже всех Америк простая рязанская баня». А ты?..

Я лучше о тебе думал, Александр!

Скажу откровенно: ты слишком возомнил о себе. Очевидно, в чем-то виноват здесь и я. Мне понравилась в тебе способность думать, честность, лежащая в основе твоих суждений, но не дел, мне хотелось поддержать тебя, поэтому я слишком мягко говорил с тобой. Я обо всем говорил с тобой и сказал все, что нужно, но, очевидно, слишком мягко. Горький прошел через дно жизни, но вынес оттуда высокие устремления. Не на дно,

а ввысь звал он людей. А ты читаешь Горького, а собираешься брать нож в руки. Стыдно! Ты еще ничего по-настоящему не знаешь о жизни и ничего не сделал в ней, а берешься судить весь мир! Истерика это, брат, нервы не выдержали!

Ты упорно молчишь о своей вине, и все сваливаешь на общество, и даже пробовал обижаться, когда я напоминал об этом. Неправильно это! И нехорошо! А я утверждаю: если человек не хочет видеть своих ошибок, он не имеет права судить других. Только человек чистой души может по-настоящему бороться за правду. Отсюда — твоя задача: стать человеком, выработать в себе необходимые для этого качества. Ты проявил себя неустойчивым, неуравновешенным человеком, анархистом, способным на любую глупость. На стройке ты пошел на преступление из-за обиды на начальника, в колхозе — из-за председателя, теперь ты поднимаешь руку на все, в том числе и на Родину, и на собственную жизнь!

Вот только что у меня был один паренек с твоей примерно судьбой. Ему тоже отказали в амнистии, но он все вынес, напряг силы, окончил в колонии школу с серебряной медалью, а сейчас освободился и учится уже на II курсе института. Я рассказал ему о тебе. Он хотел тебе написать. Его не прописывали, не давали общежития, ему не на что было жить. А он все это преодолел, пересилил и стал человеком. А ты хочешь прямо-таки вниз головой и вверх пятками в омут. Смотри! Дело хозяйское!

Но повторяю, я думаю, что это истерика. Пройдет время, ты остынешь, поймешь все, и тебе самому за все это будет стыдно. Вот когда это будет — ты напиши мне. Хлопотать я о тебе больше не буду, но уверен, что ты мне напишешь. Я в тебя все-таки почему-то верю».

Его ответ:

«Мне очень надо разобраться в собственных пороках, из-за которых мрачно вижу действительность. Мне надо понять основное и главное, которое из-за моего непонимания от меня запрятано, и ко мне оборачивается другая, страшная сторона. Мне надо разобраться в самом себе, найти утерянную действительность, взять себя в руки и поставить себя на ноги. И еще мне очень и очень много надо, так как я здесь окончательно потерял ориентировку в действительности. Прежде всего, надо как-то поставить дело выше суждений (больше

всего понравилось из вашего письма — «суждений, но не дел»). Не согласен с тем, что я «возомнил», знаю, что я ничтожество и на свете не один, кроме этого есть что-то нормальное. Оправдываться не буду, писал искренне, какой я стал гадкий и низкий. Поймите, я мог бы восхвалять и писать, что мне что-то дорого и т. д. Но это было бы неискренне, я выставлял бы не то, чем живу, кому-то в угоду, а я этого делать не хочу, ибо мне незачем кривить душой ради выставления.

Извините, что мало написал, определенного сейчас ничего не вижу, но, думаю, перезарядка будет сильная.

Вот все. Желаю всего хорошего».

Я ответил:

«За то, что сумел на бегу остановиться и оглянуться на себя, молодец!

Ну, думай, разбирайся и пиши. Не стесняйся.

Держись крепче на ногах, и все будет хорошо. Жизнь у тебя еще вся впереди.

Жизнь, брат, большая дорога. Шагай!

Ну, пока на этом кончаю.

Будь здоров и спокоен, все образуется».

Хотя я заявил Саше, что не буду за него хлопотать, на самом деле хлопоты только начинались.

Его письмо жгло мне руки. Что делать? Я еще не знал тогда всех подробностей происшедшего, но было ясно: что-то стряслось и парень может наломать таких дров, что ничем уже не выправишь. Бездействовать было невозможно, на моих глазах погибал человек. Я взял это письмо и пошел в Министерство внутренних дел СССР.

— Как же это так получается? — спросил я там.— Вы взяли колхозного парня за пустяковое, по сути дела, преступление, взяли на воспитание, а сделали его врагом, готовым идти черт знает на что. В чем дело? Я пошлю это письмо в Центральный Комитет, обязательно пошлю, чтобы они разобрались, как это получается.

Товарищ, с которым я разговаривал, был подкупающе вежливый, тактичный и вдумчивый; с тех пор он стал мне первым советчиком в сложных юридических делах и вопросах и хорошим другом, как человек большой души и широкого кругозора, хотя по возрасту был ровесником моему погибшему на фронте сыну.

— Ну, я думаю, Центральный Комитет беспокоить по этому поводу не стоит,— с мягкой улыбкой ответил

он мне.— Давайте разберемся сами. Парня выручать нужно. И тут никакие письма не помогут. Тут человека нужно найти, на которого можно опереться. Есть у меня такой человек! — добавил он после некоторого раздумья.— Я ему позвоню по телефону, а вы опишите ему всю историю.

Так и сделали. Я написал названному товарищу письмо на восьми страницах с описанием всей истории Саши Пшеная, через три дня получил от него извещение о принятых мерах. В это время работала комиссия Верховного Совета по пересмотру дел, она освободила Сашу. И через тринадцать дней я получил телеграмму: «Спасибо. Все вижу. Очень рад. Все опишу. Саша».

Телеграмма была из районного центра: парень ехал домой.

Вот как будто бы и конец всей истории. Но у жизни конца нет, и история Саши Пшеная продолжалась и продолжается, как жизнь свободного, полноправного и разумного человека, а вместе с тем возникали и новые жизненные проблемы и новые повороты мысли.

Из заключения он поехал домой, в колхоз, но в первых же письмах оттуда опять появилась тревога, потом возмущение и наконец вопль: «Не могу!»

«Григорий Александрович! Неужели человек рождается, чтобы сожрать пару вагонов продуктов и умереть? Мне говорят: «Да». А я не согласен примкнуть к этой жизни, я хочу пойти в другую. И вот я стою на раздорожье. Скажите, что мне делать?»

Откровенно сказать, я усомнился. А вдруг это вообще неприкаянный и никчемный болтун или безнадежный нытик, которому нигде нет места, везде ему плохо, везде нехорошо. И я ответил ему опять строгим письмом.

«Ты, значит, опять стоишь «на раздорожье» и опять не знаешь, как жить. Не рано ли? И не слишком ли это неблагодарно по отношению к жизни? — прости меня за это. Тебя отпустили на свободу и поверили тебе, что ты включишься в общий труд народа. И это тоже нужно видеть и понять: труд народа. Ты говоришь: «Неужели человек рождается, чтобы сожрать пару вагонов продуктов и умереть?» Ерунду ты говоришь. Человек рождается, чтобы произвести два десятка, три десятка или сколько он сможет вагонов продуктов или других ценностей и после смерти своей остаться жить в этих ценностях. Человек построил дом, мост, посадил дерево,

написал книгу или картину, спустил на воду корабль; человек умер, а построенный им дом стоит, корабль плавает, а дерево цветет и приносит плоды новым людям. Вот в чем радость жизни и ее смысл.

Ты вот прочитал почти всего Горького, а этого не понял. А это у Горького главное. И в жизни это главное, и, не поняв этого, нельзя жить. Задача человека — преобразовывать жизнь, а не пользоваться ею, не искать и не брать ее готовенькую. Вот о чем говорил Горький, о чем говорил Ленин, о чем говорят и что делают большевики, коммунисты, несмотря на многие и многие недостатки жизни.

И вот тут-то ты и должен себя показать.

У вас скоро начнется весна. Ваш колхоз должен дать народу многие вагоны продуктов. И разве это не почетная задача — помочь ему в этом? Так вот, включайся, помогай! И думай! Если ты будешь видеть связь вещей, ты будешь видеть и смысл их, и смысл жизни, и ты никогда не будешь чувствовать себя рабом. Раб тот, кто живет и работает, не понимая жизни или не желая работать. А если человек хочет работать и если он понимает то, что он делает и для чего он это делает, то и жизнь, и работа не могут не приносить ему радости.

Ты недоволен жизнью, которую видишь вокруг себя, тебе она кажется низкой, бессмысленной, и ты говоришь: «Я здесь не могу жить, я хочу уехать».

А если ты поедешь на целину или на какую-нибудь сибирскую, самую сверхударную стройку, ты думаешь, там не будет случаев пьянства, или ругани, или хамства, или бюрократов? Будут. Жизнь еще надо чистить, да, чистить от всякой скверны. А ты требуешь: дайте мне готовую хорошую жизнь, без изъянов! Неверно!

Одна девушка из Харькова написала мне о трагедии, которую ей пришлось пережить: она горячо полюбила парня, а он оказался вором. И она не знает, как ей быть дальше, и после долгих раздумий решила: «А обязательно ли искать хороших людей и не лучше ли их делать хорошими?»

И жизнь нужно делать хорошей: в этом и назначение человека, потому что жизнь делают люди. В этом проявляется качество людей, в этом люди и формируются: сдаются они, «скисают», ноют, жалуются, подчиняются злу или преодолевают его.

Есть замечательные слова: «Человека создает его

сопротивление среде». Запомни: **сопротивление**, а не подчинение и не уход от нее. Но это, конечно, тоже нужно правильно понять какой среде и в чем?

Я имею в виду то плохое, что ты видишь вокруг себя. Не поддаваться этому, но и не впадать от этого в панику. А главное, помни то, что я писал тебе раньше: соблюдай свою собственную чистоту! Чтобы бороться за правду, нужно самому быть кристально чистым, еще раз повторяю. Вот в этом для тебя сейчас главное. Не ошибиться! И не спешить с выводами. Ты подожди, посмотри, а главное — сам поработай и прояви себя. Ты ведь еще ничего не успел сделать, чтобы судить жизнь, да еще так строго судить, без всяких скидок. А чтобы так судить, надо иметь на это право, а ты его пока не имеешь, его еще нужно заработать. Тебе еще самого себя нужно делать. А ты требуешь: дайте мне идеальную жизнь! За нее еще бороться нужно, за идеальную-то жизнь! Вот и борись, и проявляй себя в этой борьбе, и закаляй себя в этой борьбе. А хныкать, брат, легче всего!

Ну вот, пока и все: не витай над жизнью, как лермонтовский Демон, со скорбной миной непонятого человека, а спускайся на землю, становись в строй и работай. И я уверен, что все будет хорошо».

Но не подействовала на этот раз моя строгость. Саша из колхоза все-таки уехал в Кривой Рог, чтобы строить там комсомольскую домну. И вот пишет оттуда уже совсем другие, радостные и счастливые письма.

«Начать письмо криком «ура», что ли? Именно какое-то такое слово должно выразить радость, что я живу. Мне здесь все нравится: город живой, все в движении, и люди замечательные. Так что можно считать, что я начинаю жить по-нашему, по-советски».

Значит, нет, не пустой, не никчемный нытик Сашка Пшенай! Значит, не зря он искал настоящую жизнь и наконец нашел. Нашел друзей, и один из них, Юра Янченко, чистейшей души человек, о котором тоже можно писать и писать, дает ему рекомендацию в комсомол. И вот Саша Пшенай снова комсомолец. Нашел он себе жену, тоже хорошую и много пережившую девушку, и вот у них уже дочка Наташенька. Нашел работу, свое место в жизни и приложение своих душевных порывов. И вот я читаю письмо, как на строительстве домны нужно было срочно произвести какую-то работу. И люди работали целую ночь под дождем, но работали с подъе-

мом, воодушевлением, и закончили ее в срок, и я чувствую в письме Саши это еще не остывшее воодушевление.

А вот я приехал его навестить, и он ведет меня на эту, уже готовую, действующую домну и показывает мне место, где они работали тогда, и все, куда вложен был его труд, и я вижу его горящий взгляд и вижу в нем настоящую человеческую радость.

А вот на первомайские праздники он приезжает к нам в гости, целыми днями бродит по Москве, взволнованный, возбужденный. Идет на премьеру спектакля «Жизнь и преступление Антона Шелестова», поставленного по повести «Честь», и, видимо, вспоминая свое прошлое, плачет на протяжении почти всего спектакля. Он идет со мной на первомайскую демонстрацию и, проходя мимо Мавзолея, отчаянно машет рукой и кричит «ура!». А когда я провел его на встречу с Гагариным, восторгу его не было границ, и Гагарин для него был Юркой, своим человеком, сверстником.

А вот отклик на XXII съезд партии:

«XXII съезд — это правда. Это утверждение. Да, да, все понятно, все хорошее и все своевременно, нужно, ох как нужно! Перечитывал Программу два раза, просветлело и на душе, и в голове. Путаницы нет, всему грязному ход закрыт».

И он продолжал борьбу с этим грязным непримиримо, неутомимо, «сидеть в тайниках в такое время смешно»: там буфетчица обвешивает, там бригадир обсчитывает рабочих, и он восстает, он выступает на собрании, он идет в райком, он пишет мне, что нужно «растоптать зло, изгнать его из бригады и доказать, что сила в нашей действительности, а не в пол-литре водки». А потом с торжеством докладывает: «Можете поздравить нас с победой. Если бы вы знали, как хитрило и изворачивалось зло, но ничего не помогло — мы развернули его, показали его отвратительное лицо и положили на лопатки».

А вот с ним самим случилось несчастье: на работе отдавило ногу, и он две недели пролежал в больнице. Начальник участка забеспокоился — за случай производственной травмы его могут лишить премии. И он предложил Саше противозаконную сделку: «аннулируем больничный лист, а тебе заплатим по ведомости, как зарплату», и Саша возмущается.

Но он не замыкается только в своих, бригадных делах. Вот обидели какую-то девушку, и он пишет ей куда-то заявление. Вот он встретил в скверике «расцарапанного старика», которого избила его собственная дочь, тунеядка и спекулянтка, и Саша подзывает дружинников, и с ними идет к старику на дом и занимается его судьбой. Вот он заметил ребят с банками консервов и чутьем почувствовал в них формирующихся «людей беды и лиха»; где-то что-то ограбили. Зная их повадки, жаргон, он расположил их к себе, привел домой, напоил их чаем и стал распутывать их жизнь и дела.

А вот Саша на трибуне. Строители держат шефство над трудовой колонией, и он выступает там и раз, и два.

«Я им рассказал о себе, о той подлости, какую несет преступный мир людям, о том, как сам я видел пеньки, а не видел леса. Обращался я не столько к хорошим, сколько к тем, кто нарушает режим. Говорил, что не надо приспосабливаться, а надо и в колонии формировать в себе человека. Говорил, что многим из них мир представляется в черном свете из-за непонимания жизни. Рассказал, как хорошо жить и идти в ногу с жизнью. Меня очень благодарило начальство, и хлопцы после выступления не давали прохода, просили адрес. И я им дал. Я понимаю всю ответственность, которую беру, если буду отвечать, но скидок делать не буду».

А вот письмо Юры Янченко, друга Саши, о выступлении в колонии:

«Сашка при входе в колонию пожелтел весь, и его передернуло, он стал задумчивым и грустным. Но на сцене он переродился, таким я его не видывал. Колонисты задавали ему вопросы, и это были не ответы с его стороны, а какая-то страшная борьба: иногда его голос срывался. Александр начал рассказывать о себе, в зале стало тихо и удивительно спокойно. А когда закончился вечер, Сашу назвали «стойким коммунистом». И 12 человек взяли его адрес, и 6 человек — мой.

— Буду бомбить до потери сознания,— сказал Сашка.— Жалко их мне, но и зло берет.

А вот газета «Днепропетровская правда» — большой, во всю страницу, отчет о собрании молодежи, посвященном вопросу «Программа партии — программа нашей жизни». В центре страницы — портрет Саши Пшеная. Он сидит, опершись подбородком на руку, и думает: «Он знает, о чем ему говорить,— написано под портре-

том.— Он расскажет о людях с большой буквы, о коммунистах». А дальше в отчете сказано, как слушали то, о чем он говорил. «Сашу слушали, затаив дыхание. И когда он возвратился на место, зал долго еще аплодировал ему».

А теперь... Я послал ему перед публикацией этот текст, и вот его ответ — оценка и главы, и всей своей прошлой жизни:

«...Теперь о присланном материале. В целом глава мне не очень нравится, а за некоторые места в моих письмах просто стыдно. Столько мрака, столько обид и опровержений, что создается впечатление, будто парит Демон над землей, отвергающий все и вся со злой миной на искривленном лице. Правда, все это было, я знаю, но будет ли представлять какой интерес эта безвыходность, этот плен мрака?»

По-моему, будет! Мне кажется, да, есть большой общественный интерес в том, как люди попадают в плен мрака и как из него выходят. И в этом отношении судьба Саши очень показательна.

Вот таким, в итоге, и встает передо мной Саша Пшенай из всего многолетнего общения с ним.

По юридическим признакам он — рецидивист с двумя судимостями, а он стыдится нецензурно выразиться. И тогда, в тот тяжелый, кризисный январь 1960 года, он мог легко получить третью судимость и по юридическим кодексам стал бы особо опасным рецидивистом со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Со зла, с отчаяния и безнадежности, из протеста он действительно мог наделать глупостей, и из волчонка мог действительно вырасти волк. И общество потеряло бы человека. Больше того, оно приобрело бы врага. К счастью, этого не случилось, и в нашей стране одним преступником стало меньше, а одним гражданином и хорошим человеком — больше.

«Мне бы только чувствовать, что я что-то делаю полезное в жизни, и все будет хорошо. Верьте, что из меня человек будет! Я должен им быть! Я обязан им быть!»

ПОСТСКРИПТУМ 1972

И он стал человеком.

Прошло десять лет, даже больше, а связи мои с Сашей Пшенаем не ослаблялись — он мне писал, я ему пи-

сал, я к нему наведывался, он бывал у нас как близкий семейный друг, почти, как сын, и думаю, не грех будет привести его откровенное признание:

«Вы оба являетесь очень дорогой частицей моей жизни, и все хорошее, что у меня есть, идет от вас, и я буду помнить об этом до конца своей жизни. А то, черт его знает, как могло повернуться мое брожение».

Но брожение было уже в прошлом, теперь шло становление. Из года в год, от письма к письму, от одной встречи к другой я замечал его непрекращающийся рост, как человека, как личности, все более и более богатой, интересной и многосторонней. «Больше я опускаться не буду, а упорно буду вырабатывать в себе человека, но это сразу не дается. Работаю сейчас грузчиком на машине. Работа не страшна, но и неинтересна, а был у нас воскресник, я работал тяжелее, но ощущал радость и был в приподнятом настроении. Что-то противоположное есть даже в работе, и я обязательно буду стремиться найти такую работу, чтобы по окончании я что-то чувствовал».

Это где-то вначале, наметка, генеральный план жизни, и уже в этой наметке определяется ее главная черта: духовность. Работа не страшна, даже тяжелая, важно ощущение радости, переживание, чувствование этой работы. И не только работы, а всей жизни, и своей, и общественной, вообще человеческой. И вот из своего окна он видит, как в соседнем доме муж избивает жену, даже чем-то замахивается, чуть ли не топором, и Саша бежит в этот дом, собирает соседей, стучит в эту квартиру и прекращает избиение. Здесь сказывается вся его прошлая, полная испытаний, жизнь: он никак, органически не может переносить несправедливости.

Он и женился из-за того же самого, женился сразу, в один вечер, не раздумывая, когда встретил девушку, которую родные выгнали из дома, но женился накрепко, на всю жизнь.

«Мне вообще повезло в жизни на хороших людей, и я очень благодарен этому, что я стал человеком, создал семью, имею детей, ладно и дружно живу с женою, к которой жизнь оборачивалась тоже различными аспектами, но она сохранила в себе лучшие черты, которые нас не только сближают, но и роднят. Я благодарен жизни, что она в ней жила, и мы встретились друг с другом, дополнили друг друга, пережили с нею трудности при

создании семьи, и когда мои нервы сдавали (были такие письма и к вам), она заставляла своей верой и жизнелюбством брать себя в руки и бороться с трудностями. Ведь начинающиеся молодые семьи очень часто разваливаются в своем зародыше именно из-за трудностей на первых порах, а обычное объяснение, что не сошлись характерами, служит прикрытием слабости. А когда они прошли, можно смело сказать, что ячейка семьи будет крепнуть и жить. Это похоже на весенние ростки, вышедшие из темной земли, дающей жизнь, и встретившие лучи солнца.

Во мне вообще одни воспоминания будят другие, и что-то бродит в душе, волнуют размышления над жизнью, и я считаю, что жизнь обыкновенного человека, а не только великих, тоже может быть интересна и вызывать размышления».

А ведь это действительно величайшая тема и жизни, и литературы: обыкновенная жизнь обыкновенного человека, не потерявшего самого себя.

«Правда, Сашка Пшенай не вышел на высокую орбиту,— говорит он о себе,— не дошел к финишу такому, какой и по силе и по возможности мог бы взять. Но я хорошо знаю, чего он хочет, он очень хочет, чтобы душа его была раскрыта для людей. Но что он сделает, если он распрямится, а тут его и обольют водой? И он бредет с плачущей душой, и никто не видит этих слез, только жена душой понимает его да успокаивает».

А воды холодной, охлаждающей воды из разных жизненных водопроводов, выливалось на его голову нещадно.

Наглая, горластая буфетчица обвешивала и обсчитывала людей, глядя им в глаза бесстыжими глазами, и всякую попытку спора душила своим басовитым голосом, обвиняя несогласных чуть ли не в бунте.

Пьяница бригадир тоже обсчитывал людей и кончил тем, что попался на попытке вытащить охлаждающий аппарат из автомата для питья и приспособить его к своему холодильнику. «А вокруг него собрались любители легкой жизни, и вот уже группа, кучка хлама среди хороших ребят, и разлаживает всю бригаду».

Вот и в областной газете появился фельетон о серьезных злоупотреблениях. «Какая гадость! — негодует Сашка.— Люди потеряли чувство партийной совести и государственного долга, чинят расправу над честными и хо-

рошими людьми. Сильны они своей нечестностью, но их меньшинство. А какой огромный моральный урон причиняют они людям, убивают в них веру в справедливость. Правда, сильны они до хорошего боя, а он обязательно будет. И нужно не уходить от этих несчастий, а противостоять им, быть беспощадным к тому, что омрачает нашу жизнь. Для этого надо много понимать и быть сильным человеком».

А тут еще его собственные квартирные дела. Пока был один, Саша жил в рабочем общежитии и ничего другого ему не было нужно — человек живой, общительный, он чувствовал себя там, как в своей стихии. Но теперь у него семья.

И вот в письмах все чаще звучат тревожные квартирные мотивы. «В очередности моя фамилия стоит первая, но что-то слишком долго стоит».

«Четыре человека, стоящие после меня, уже получили жилье, а я по-прежнему первый»...

«К концу года я стал вторым, но в начале нового года списки переделали и чьей-то злой рукой меня поставили одиннадцатым. Вот и мотаюсь, доказываю, короче, нервовзбадривание отличное.

Я, конечно, носа не вешаю — не то переживали, надеюсь на лучшее».

Но надежды надеждами, и жить нужно, и у жены подходят сроки родить. Живут они нелегально в холодной комнате под лестницей («купил пластилина и буду замазывать щели»), которую им временно уступила женщина и теперь потребовала выселения. А выселяться некуда, «с квартирой по-прежнему тянут резину». Скандал, милиция.

«Прихожу с работы и ужаснулся — все вещи вынесены в коридор. Галка моя сидит на них и плачет, трясется вся, и белая, как смерть. Я к начальнику милиции. А начальник милиции, известно, тоже не отец родной».

И много еще треволнений пришлось пережить этим горемыкам, прежде чем мы с женой получили от них долгожданную весть:

«Мне уже порядком надоело писать о своей неустроенности. Но теперь наконец-то мы получили хорошую двухкомнатную квартиру с газом и другими коммунальными удобствами».

Правда, радость была омрачена тем, что сам хозяин квартиры слег в больницу с воспалением легких, но это

уже была мелочь. Главное — крыша над головой. Теперь нужно было утверждаться в жизни.

А утверждение в жизни — это прежде всего работа. У самого Саши с этим все было в порядке: он был тертый калач, и после всех злоключений, выпавших на его долю, теперь твердо стоял на ногах — работал слесарем на крупнейшем, всесоюзного значения, заводе. Галя, наоборот, была ничем, абсолютно ничем. Она выросла в трудной, незадачливой, а потому и бедной семье. Отец у них пил и искал легкого счастья, и в поисках этих переезжал с места на место и возил с собою всю семью, уходил из семьи, возвращался и снова пил; и ничего, кроме несчастной жизни, за которую полюбил ее Саша Пшенай, за плечами у Гали не было. Работала она разнорабочей на разных случайных местах — перебирала картошку в овощехранилищах, таскала кирпичи на стройках. Ей нужно было начинать все с начала.

Начать решили с главного — с постоянной работы, хоть какой-нибудь, но постоянной. Устроилась землекопом. И тут ее постигло несчастье. Рыли проход, вроде тоннеля, под какой-то насыпью и, по небрежности бригадира, не обеспечившего должного крепления, обвалилась, как это говорится, кровля, и глыба земли упала Гале на поясницу. У нее отнялись обе ноги, и ее, недвижимую, положили в больницу.

Это было в самом начале их супружеской жизни, когда у них даже не было еще квартиры. И по обыденной человеческой логике, которая не совсем правильно называется иногда здравым смыслом, можно было предположить и даже допустить, что, попав в такое положение, мужчина сделает из этого свои выводы: «Ну, раз так, что ж поделаешь? Значит, не повезло». И только люди высокой души и нравственного сознания и, конечно, любви, способны сохранить свои обязательства перед попавшей в беду женщиной. Об одном таком случае писал покойный Сухомлинский, другой знаю я лично, когда муж в течение 23 лет выхаживает почти, а временами совсем неподвижную жену.

Таким оказался и дважды судимый Саша Пшенай. Я был у них как раз в это время, приехал, чтобы помочь им в устройстве жизни, а попал вместе с Сашей в больницу на свидание и видел, с какой нежностью он говорил и обращался со своею тогда еще совершенно недвижимой женой.

К счастью, все обошлось благополучно: молодой организм и правильное лечение победили болезнь, и через несколько недель Галя выписалась совершенно здоровой. Вместе с тем снова всплыла на первый план старая проблема: устройство в жизни. Землекоп — это не работа. И Саша устраивает ее на свой завод, громадный, пышущий огнями, металлургической завод, учеником в отделе технического контроля — ОТК. Это уже работа, специальность, перспектива, место в жизни. Но на этом месте тоже нужно было закрепиться, а это значит — учиться.

И Галя поступает в техникум. К этому времени у них уже родилась дочка Наталка. Это значит — уход, надзор, домашнее хозяйство.

Саша опять решает вопрос мужественно и благородно: «Ты иди учиться, я буду вести дом». Так три года, а через три года, защитившись, получив диплом, то же самое сказала ему Галя: «Теперь я буду вести дом, а ты иди учиться». И еще три года. А потом родился сынок, очень, кстати, похожий на отца.

Так сложилась и окрепла семья.

Как-то, в один из их приездов к нам, моя жена очень похвалила его Галю за одно, за другое, за третье, и в ответ он хитровато вскинул на нее глаза:

— А выбирал кто?

Мы рассмеялись: отзвуки вечного спора. Выбирал действительно он, но ведь и она выбирала его и тоже внесла в общий строй семьи что-то свое — разумное: хозяйственность, спокойствие. Но какие-то общие принципы, по крайней мере, в письмах и разговорах были сформулированы самим главой семейства.

Когда-то, еще из заключения, в письме к какой-то заочно знакомой девушке (кстати, тоже Гале) он рисовал печальные перспективы семейной жизни, когда «погуляют немного, распрощаются с юностью, то есть выйдут замуж и уйдут в личную супружескую жизнь, их не порадует уже ничего, кроме дома, нового платья и хорошего хозяйства. А кое-кто позабудет о достоинстве человеческой жизни, научится делать подлости и будет наслаждаться личной жизнью... А разве можно счастье коллектива променять на личное счастье?»

Теперь он сам немножечко посмеивается над этим противопоставлением личного и коллективного («выступал в колонии», говорил о связях личной и коллективной

жизни, о зависимости индивидуума от общества), но высота принципов осталась. «Хочется жить не кротом, не рабом, а человеком...»

«Все мечтают о счастье и не видят его, закрывают глаза и отворачиваются от большого, справедливого счастья, упиваясь маленьким и ничтожным... А разве можно настоящее счастье променять на мотоцикл или велосипед?..»

«Есть люди, которые ни над чем не задумываются в жизни, легкомысленно, без всяких взглядов, существуют. У них нет ни стремлений, ни определенной точки зрения. Таким легко живется, но лучше так не жить».

Это все из настроений тех лет, и все это осталось, только воплотилось в конкретные, земные формы: и желание «жить не кротом, не рабом, а человеком», и поиски «большого, справедливого счастья», и «плодотворная мучительная борьба» за него, и простая рабочая работа, и простая человеческая семья с пеленками, нехватками и неизбежными семейными заботами: «заготавливаем картошку на зиму», «солим помидоры».

Однажды, после того как они, вместе со своей востроносой и шустрой, как мышонок, Наталкой побывали у нас на даче («Наташенька все время вспоминает, как она сама рвала малину»), моя жена, заслуженная учительница, написала им письмо с некоторыми советами по воспитанию. И вот ответ:

«Большое вам спасибо за теплое и заботливое письмо. И я, и Галя придерживаемся ваших советов и будем стараться воспитывать Наташу правильно. А что значит воспитывать правильно? Это значит, прежде всего, самим жить правильно, чтобы глаза и ум ребенка впитывали в себя чистоту отношений, взаимного доверия и т. д. Надо не по большим только праздникам заниматься с ребенком, а в будничной повседневности помнить, что своею жизнью, делами тебя продолжает другая жизнь.

Ах, как хочется ребенка сделать человеком!»

Отец двух детей, хороший семьянин, кадровый рабочий и общественник, он осмысливает теперь всю свою жизнь, и общую, и семейную.

«Ведь бывает, — сказал он в недавней беседе со мной,— люди годами встречаются, любятся, а потом расходятся. А мы вот с Галкой сразу сошлись, и накрепко.

Другой бы сказал: «А почему? А я не знаю — почему».

Нет, Саша обосновывает.

— Вот, говорят: тут в первую очередь играет любовь. А я не согласен. Ну не то что совсем без любви нельзя, а все-таки... Что такое любовь? Влечение. А потом влечение прошло, и ничего не осталось. Вот и трагедии. А я считаю, на первом плане внутренняя согласованность. Ведь мы, как сошлись, первую ночь всю не спали: и она мне все выложила, и я ей все выложил, все, без остатка, и получилось духовное сближение, вот оно и держит. И потом все вместе, все трудности. А трудности тоже сближают. А как же? Другой только от них отталкивается. «Отчего разошелся?» — спрашиваешь его. «Да ну ее! Квартиры нет, того нет, другого нет. Буду жить один. Одна голова не бедна, а бедна, так одна». А мы на этих трудностях спаялись. И интересы. Мне иной говорит: «Какой ты, Сашка, счастливый. Ты можешь поговорить с женой. А я не могу. Ей все безразлично».

Людей соединяют разные нити, в совокупности — и половое влечение, и дети, конечно, и общность интересов, природа даже. А как же? И природа... Сходятся две личности.

Это не сочиненный разговор, это все, в том числе и «две личности» — его доподлинные слова, говорящие о росте его собственной, и очень незаурядной личности. Это было заметно уже по его прежним письмам из заключения, но меня очень радовало, что и теперь, на свободе, он не снизил интеллектуального уровня своей жизни и мысли. А бывает ведь всячески. Иногда люди, находясь «там», оглядываясь на прожитую жизнь, умнеют, а выйдя на свободу, погрязают в тине болотного существования и потому, зачастую, заново попадают «туда». Об этом именно писал Саша Пшенай, когда позднее, после выхода в свет «Трудной книги», в письме ко мне очень умно анализировал ее и, в частности, образ Юры Спицына.

«Думаю, что Юра Спицын неправ, когда пишет, что у него «голод по свободе копится», и «чем сильнее он будет, тем крепче, тем уверенней я войду в новую жизнь». Я думаю, вам знаком страшнейший закон голода — не наедаться. Если изголодавшийся еще в силах на что-либо кинуться, он это сделает, увидев съедобное, а нажравшись, редко кто выживает. А если он, голодный, будет порционально бороть в себе голод, он выживет. Таков закон.

И, может быть, в этом кроется частица нашей общей трагедии, когда «голодных по свободе» кидают в пучину свободы, и они кидаются одинаково на разные вещи: один — на еду, другой — на свободу делать, что хочется. Разные вещи, но итог один. Вы помните амнистию? Тогда как в зеркале отразился этот закон голода — люди навалились на свободу, и многие не выдержали ее и снова попали «туда», откуда только что вырвались.

Вот в этом, мне кажется, Юра Спицын не прав. В жизнь надо входить со светлым умом, и свободу надо воспринимать не как утоление накопившегося голода, а как простор дум и мыслей».

Вот так и сам Саша Пшенай, выйдя на свободу, ощутил «простор дум и мыслей» и стал раскрываться все больше и больше, как интересная личность. В чем-то он шел дальше, в чем-то возвращаясь, переосмысливал старое. Ему теперь очень не нравится, например, то самое письмо к заочно знакомой девушке Гале, о котором только что шла речь: «Плохо написано!»

Столь же решительно, и даже с болью, переосмысливает он теперь и то, как он обрисовал свое детство и причины ухода из дома, в частности, получившийся в результате этого образ отца. За это время он, повзрослев, многое узнал и об отце, и об обстоятельствах семейной жизни,— и все предстало для него в другом свете.— «Корову-то нужно было пасти? — говорит он теперь.— А я с книжкой сижу. Ну как же не постегать? Тогда ведь первое учение было — лозинкой».

«Для меня мать и отец были очень дороги,— пишет он в письме,— и я мог пожертвовать всем ради их, они этого вполне заслужили, ибо я им принес столько горя и несчастий, которые ухудшили и без того их подорванное здоровье, что это известно только им и мне. Возможно, только они без понимания держали меня в этой рабской жизни, ибо им нужна была помощь, а я все время думал уехать. А почему? Да только потому, что не было у нас на хуторе коллективной жизни и ничего интересного, не чувствовалось человеческого уважения со стороны руководителей колхоза. А ведь я какой был? Начитавшись фантастических книг, я одно время мечтал стать невидимым и самым сильным человеком. Мечты, мечты... А ведь не все мечты претворяются в жизнь, а только часть. А другие отпадают, и человек со временем забывает о них».

Надо сказать, что вообще характер писем его с течением времени постепенно менялся, они становились спокойнее, ровнее. («Дома все идет нормально, как у людей»). Иногда он это чувствовал и как бы извинялся в этом: «Возможно, мои письма потеряли колоритность и драматическую насыщенность, но помните, что она была когда-то в изобилии. А поэтому они носят теперь, до некоторой степени, легкий характер. Я освободил сам себя от многого, но знайте, что я не стал безразличным, и это не говорит о том, что у меня сузился круг обобщения, что ли. Меня всегда возмущало, когда круг человека сводился к своей утробе, узости своих понятий. Сейчас я понял, что это приходит с возрастом, но не всех берет время. Не берет оно и меня, а это значит, что не снимается острота и злободневность мысли.

И если я теперь говорю, что у меня все хорошо и благополучно, — это не в смысле близорукости или безразличности к тому, что происходит, а просто потому хорошо, что я стал более рационально искать пути в поисках правды. Да, собственно, считаю, что правду искать нечего, ее надо делать, причем делать там, где находишься сам. А то в жизни как бы происходит разделение: одни мусорят, другиет очищают. А я считаю, что тот участок, на котором ты находишься, должен быть чистым. Вообще, жизнь движется, и есть в ней все, и жить можно, а главное — самому не вносить в нее зло».

Нет, Сашка остается Сашкой — никакой «узости понятий», никакой приземленности, строгий контроль над собой на всех этапах и поворотах жизни.

Вот очень тяжелое, самое, пожалуй, тяжелое время: жена не работает, крошка дочка (пять месяцев) лежит в больнице — «так и курсирую: работа — больница». У самого «30 рублей аванса да 32 получки, туда-сюда — и нету». Известно, что на такие деньги прожить нельзя, и мне очень и очень помог отец — то сам кое-что привозил, то посылки высылал. И хорошо еще, что с осени запаслись засолкой да картошкой. Работу придется переменить в этом же цехе, а если удастся, и заработок будет 100 рублей, тогда можно жить, тогда не страшно. Одним словом, живу и буду жить.

Интересно получается: думал ли я, что буду так подробно вникать в учет денег? Да никогда в жизни. А теперь считаю до копейки со способностью страстного

математика. А приходится. И невольно думаешь: «а не стал ли ты, Сашка, мещанином, не скатился ли ты в логово врага, которого так ненавидел. Ведь деньги такая вещь: меньше есть — меньше надо, больше есть — больше надо».

А через несколько лет я был у них уже в новой двухкомнатной квартире со всеми удобствами, обставленной мебелью, лакированной по всем правилам современного мебельного искусства, и Сашка почти в тех же самых выражениях извинялся за весь этот лак и удобства: «Не стал ли я мещанином?»

Нет, мещанином Сашка не стал и не мог стать по своей внутренней сущности, по той духовности своей натуры, которая была двигателем всей его жизни, и даже, как это ни парадоксально, в ее далеко не бархатный сезон. И здесь, на новой квартире, рядом со всей ее лакированной роскошью, стояли самодельные, хотя довольно искусно сделанные, книжные полки, сплошь заставленные книгами. И в это как раз время он читал «Былое и думы» Герцена и с воодушевлением вычитывал мне наиболее взволновавшие его места. А потом, еще через ряд лет, в недавний его приезд к нам, он сказал, что перечитал «Былое и Думы» еще раз и захватили его и описание «Былого», а главное — «Думы».

«Мысли о жизни, о роли человека в этой жизни, о духовной жизни, о свободе личности. Герцен очень дорожил личностью, боролся за человека и за освобождение его от рабства мысли. А это нравственно освобождает и меня, как личность».

И опять я заверяю точность передачи этого большого и содержательного разговора. В этом разговоре он сказал далее, что после Герцена он обожает Короленко и его «Историю моего современника» за характер, непримиримость и чистоту его мысли, за знаменитые «Огни», манящие своей близостью. Любит он и Куприна, «но это не то, не так дорог». Читал он чьи-то воспоминания о Чернышевском, который «потряс своей непокоренностью», а теперь хочет заняться декабристами, чтобы проследить всю историю этой непокоренности свободной русской мысли с самых ее истоков.

В этой же беседе он признался в том, что недолюбливает беллетристику, особенно фантастику.

«Фантастику презираю. Можно ведь закрыться в четырех стенах и выдумать такие небылицы, что люди бу-

дут хвататься за головы, а жизнь будет идти своим ходом. Романы тоже — мир нереальности, как захочет писатель. Люблю публицистику, мемуары, воспоминания, где сама жизнь. И началась эта тяга с Эренбурга, когда я сравнил его «Бурю» и его воспоминания. Это — жизнь».

Нет, этим я не хочу, конечно, подтверждать правильность всех его суждений, и мы о многом спорили, мне просто хочется показать широту его интересов. Вот он прочитал в «Юности» мой очерк о Дзержинском и спешит откликнуться.

«Я прочитал и подумал, что в каждом из нас есть частица Дзержинского. Только по-разному в каждом из нас эти частицы проявляются, а у некоторых и вовсе не израсходываются и остаются в них без пользы к делу. А сколько их, людей сильного сплава, уходило из жизни без имени и славы! Создается впечатление, что в тяжелое для народа время познается сила и воля человека.

А сейчас кажется (я имею в виду молодое поколение), нет таких людей, чтобы с юности шли на лишения за свои идеи. Это, конечно, неправда. Это только так кажется».

А вот я послал ему сборник стихов Евтушенко «Идут белые снеги». И вот его ответ.

«Стихи я и Галя читаем с радостью и болью...

Все ли нам дороги поэты? Нет, нам дороги те, которые выражают то, о чем мы думаем, мыслим, мечтаем, которые видят больше нас, лучше нас. Нам дорог Есенин тем, что умело дотрагивался до душевных струн человеческой души, и поскольку после его времени мало кто трогал это, мало доставалось им и людской любви. Он писал давно, это правда, но острота переживаний человека стала не меньше с тех пор, а больше. И мне кажется, Евтушенко так же обратил наше внимание на чаяния, думы, переживания человека с чисто человеческих побуждений, и люди отвечают ему взаимностью: ты любишь меня, я тебе отвечу тем же. А закостеневшим к человеческой душе роботам это кажется странным».

Нет, Саша Пшенай не мог быть мещанином. Мещанин — это не звание по паспорту, как считалось когда-то встарь, это не социальная, это нравственная категория, пронизывающая все социальные прослойки, болотная категория людей, которым «все равно», которые видят мир в узкую прорезь своего «дота» («мой дом — моя

крепость»), своего узкого, ограниченного «я», становящегося от этого еще уже и мельче. Мещанин — это человек неспособный, а главное — не желающий понять и увидеть всю широту мира, всю глубину его проблем, всю сложность человеческих отношений и зависимость своего собственного бытия от всего многоцветья, многозвучия жизни, от всех ее и радостей, и горестей, и нужд. Пшенай человек мыслящий, умный, отзывчивый, широкий по сердцу, по интересам. Его интересует жизнь людей в разных ее гранях и проявлениях, и люди к нему льнут.

В соседней квартире неспокойно, оттуда часто несутся крики, ругань, иногда даже жена с ребятами убегает к ним, Пшенаям, от разбушевавшегося мужа. А потом устроили «ассамблею»: пришел и муж, трезвый, смущенный, и стали разбирать — отчего и почему? — и муж обещал бросить пить.

Вот заболел человек, хороший человек, когда-то в дни бездомного скитания начинавшейся семьи, давший ей приют под своей крышей:

«Здравствуйте, Галя и Саша! Извините за беспокойство. Уже месяц валяюсь по больницам, скучно до безумия, поговорить не с кем, а хочется. Может, выберетесь на часик, поболтать? Да захватите книгу поинтереснее. Буду очень вам благодарен».

Поехали, свезли книгу, поболтали, отвели душу.

Вот пишет человек трудной судьбы, а теперь токарь большого машиностроительного завода. «Есть люди, похожие друг на друга во взглядах и стремлениях, живущие одним девизом: «честь и совесть». Очевидно, поэтому я из всей «Трудной книги» выделил вашу историю и в ней увидел себя самого.

Рад за вас и горжусь вами, хочу видеть в жизни больше таких, ставших счастливыми людьми на земле. Пусть таким фундаментом укрепляется наше общество, где человек человеку — друг.

Немного о себе. Я старше вас на 10 лет. Биографию свою начал с войны. Трудное начало, но случилось так, что через десять лет после войны оказалось еще труднее, счастливые дни пролетели, как минуты, затерявшиеся в памяти.

Было два пути жизни — легкий и трудный. Я выбрал трудный, как подсказала совесть, но цели не достиг, не рассчитал силы и оказался виноватым. В результате убил

еще 10 лет жизни, получив за это свое одиночество. Вот кратко и все, хотя вижу, что непонятно. Одним словом, много пережито невзгод, а это не могло не отразиться на здоровье, и воспоминания тяжело ударяют в голову».

Завязалась переписка, и Саша делится со мною ее итогами:

«Он во всем винит жизнь. Но так не бывает, чтобы виновен был один человек или одна сторона. Все сложнее. Можно обвинять других, но и ничего не видеть за собой нельзя. Это я по себе знаю, и написал об этом ему. А он обиделся. Но я беру над ним верх и подыму его, как вы подняли меня».

Вот из трамвая кондуктор высаживает безбилетного парня, и по тому, как парень смущается и краснеет, Сашка чувствует, что это не наглец, у него просто нет даже пятачка. Он платит за него деньги и, разговорившись, узнает, что тот вышел из заключения и никак не может устроиться на работу.

«Я ему кое-что посоветовал».

А вот я пересылаю ему письмо женщины, у которой сын в тюрьме, а живет она в том же самом городе, что и Сашка, в Кривом Роге, и ему на месте легче все выяснить и разобраться. Он едет к ней, разговаривает с ней, с бабушкой, и пишет мне отчет.

«Мы говорили очень много и очень долго. Женщина эта умнейший человек, но беда в том, что сын ее глуп. По ее словам и письмам сына можно судить, что он крайне податлив на все дурное, парень, у которого вовсе нет сопротивления, очень неустойчив. Он и там играет в карты и заставляет мать расплачиваться за него. «Он и оттуда подчиняет вас»,— сказал я ей. Недаром гласит народная мудрость: «мать — кривая душа». «Я думала, говорит, мне помогут».

А вот Саша — профсоюзный активист.

«Вы представляете? Меня избрали председателем цехового комитета и, кроме основной работы, я теперь занимаюсь профсоюзной.

Прошел семинар. Ох, и накачивают же нас. Функции. Во что можно вмешиваться, во что нельзя. А где нужно, самому мыслить логически».

Я просматриваю его толстую рабочую тетрадь. Обложка ее из серой стала грязной, захватанной, замасленной, листы тоже грязные, испещренные многочисленными записями:

«Выявить людей, нуждающихся в диетпитании... Список групп народного контроля... Культпоход... жилкомиссия, списки очередности... Новое законодательство о труде: раньше место по болезни сохранялось два месяца, теперь — четыре, хронические (туб.) — год. Права беременных и кормящих женщин.

Оперативка 3/XII—1970.:

О большой процентности простудных заболеваний.

О труддисциплине. «Товарищеский суд. Суд рабочей чести».

«Работы масса. В связи с этим у меня очень мало времени, и дома стал меньше находиться, от детей оторвался. Я вынужден отрываться от работы и разбирать то склоки, то нарушителей, то заниматься воспитанием,— да мало ли дел и нужных, а то и не нужных».

Работа интересная, раздвигающая и углубляющая познание жизни («хожу на оперативки, вижу, как выколачивается план и многое другое»), и в то же время сложная, полная противоречий.

«Ведь я люблю, если делать что-либо, то делать отлично, а как делать, не всегда твердо знаю. Хорошо хоть начальник у меня отходчивый, свой парень, в войну Берлин брал: покричим-покричим друг на друга, и он стихнет, не мстительный. Галка моя говорит: «тебе повезло». А ей хуже. Она теперь сама мастер, под ее началом 40 девчат работают.

Так и кручусь. Я уж отошел было от всего этого, становился чисто техническим человеком, лишь бы техника работала, обеспечивала план, ан нет, волею судеб кинут теперь в водоворот, где надо быть ушлым и осторожным. Вот так и живу, своим умом да чужими делами».

«Так и кручусь!» Хотя сам же он понимал, что в этом кручении и заключается жизнь: «Живу я очень напряженно и, кажется, нет конца этой напряженности, хотя, в конечном счете, она сама составляет мою жизнь».

Сказано это, пожалуй, очень точно. Вот я мысленно оглядываю его жизнь и всю историю теперь уже пятнадцатилетнего нашего знакомства, начиная с того первого, писанного карандашом, письма из заключения и того вопроса, который, можно сказать, прокричал в нем: «Где справедливость жизни в обществе и в чем заключается истина коммунистической морали?»

Это — сплошная напряженность, не только внешне сюжетная, этого тоже хватало, — а главным образом

внутренняя, напряженность нравственных и интеллектуальных исканий, пусть не всегда правильных, но исходящих от чистого сердца и отличающих его живую, глубокую и страстную, я бы сказал, интеллигентную натуру. И так шла эта напряженность через всю нашу переписку, через наши разговоры и встречи вплоть до последней, совсем недавней, когда он приезжал к нам на майские дни.

Мы проговорили с ним все эти дни и обсудили все, как говорится, «от» и «до». И все это было интересно — о жизни, его и нашей, о работе, его и моей, о воспитании детей, о производстве, его достижениях и трудностях, о колхозных делах, за которыми Сашка следил и писал о них очень часто в письмах, а теперь в разговоре дал свой, довольно интересный анализ их. О многом. И говорил он обо всем с той же напряженностью, потому что все это проходило, видимо, у него через ум и через сердце.

Теперь эту напряженность я отметил и в его внешнем облике. Вообще лицо его приветливое, мягкое, улыбчивое и отзывчивое на улыбку, но при разговорах оно теперь становилось жестче, сосредоточеннее. Развивая какую-то мысль, он опускал глаза, чтобы не рассеяться, и меж бровей ложились складки. И он переплетал пальцы крепко-крепко, они даже белели, и видно было, что весь он ушел сейчас в работу мысли. Если завязывал спор, он вставал, лицо его твердело, взгляд — тоже, и в жестах его, неспешных, размеренных выражалась его внутренняя сосредоточенность.

Одним словом, предо мной был вполне уже сформировавшийся человек, мужчина, много переживший и много передумавший, но стоявший теперь в жизни на двух ногах.

Эти последние слова я взял из его письма, которым, пожалуй, и закончу свой рассказ:

«У нас все хорошо, жизнь налаживается, позиции укрепляются, стоим на двух ногах. А уж я-то знаю, какое это счастье жить на земле свободным человеком. Куда хочу, туда иду, и руки свои за спиной не держу, и, как настоящий капитан, ведущий корабль среди штормов и бурь, бесповоротно веду себя по намеченному курсу. Иногда мне кажется, что жизнь, как капризная погода, может испортиться в любую минуту. Только погода — это стихия, которой никто не руководит, а жизнь человека — это сложный инструмент, который можно заста-

вить играть так, как тебе требуется. И все, исключительно все, которые пускают свою жизнь по пути стихии, будут испытывать трудности до гроба. Над такими людьми жизнь становится хозяйкой и делает с ними, что хочет. И, по правде сказать, это закономерно».

А Саша Пшенай сам оказался хозяином своей судьбы.

* * *

Мы видим, как Саша Пшенай, сам, силой своего характера, своего внутреннего, врожденного благородства сумел взять судьбу в свои руки, повернуть свою жизнь с кривой, преступной дороги на прямую, сверкающую человеческую магистраль. Сам!

Но не всегда и не всем удается вовремя спохватиться, найти в себе точку опоры, чтобы круто остановиться на спуске, найти в себе силы, чтобы повернуться, и начать подъем.

ЭГО

У Маркса во введении «К критике гегелевской философии права» есть интересная мысль, касающаяся задач, стоявших перед немецким народом того времени: «Надо заставить народ **ужаснуться** себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу». Перефразируя это, я бы хотел, чтобы человек ужаснулся того, на что он способен, и этим мог бы усилить свое сопротивление злу.

Несколько лет назад, окончив среднюю школу и поступив в институт, Тамара Махова была, казалось, так же далека от преступления, как далек от него грудной младенец, и вдруг она, студентка вуза, стала рецидивисткой, четырежды судимой за воровство.

Что же произошло и как это получилось?

«Родилась я и воспитывалась в самой обыкновенной, рабочей семье, каких много. Мать моя, простая, неграмотная женщина, всю свою жизнь, с молодости и до седин, простояла за прядильным станком. Отец погиб в 1944 году. Кроме меня, у матери было трое — сестра и брат старше меня и сестренка — младшая.

Я не могу жаловаться на свое детство, мы жили неплохо. Теперь только я представляю, как трудно было моей матери воспитывать нас — выучить, одеть, обуть. Она делала это так искусно, что нам завидовали дети

более состоятельных родителей. Вероятно, она на своем опыте знала, как тяжело не уметь писать и читать, и поэтому изо всех сил старалась сделать нас образованными людьми, взвалив на свои плечи непосильную ношу. Особенно много заботы она уделяла мне, и я с 8-го класса уже не знала, как это надеть в школу старое платье. Мне это нравилось, я считала, что это вполне естественно. Но сама ничего не делала, чтобы помочь семье, и к тому моменту, когда окончила десять классов, я умела только читать, писать и ничего больше.

Училась я в школе неважно и, если правду сказать, не помню дня, когда бы выучила уроки по всем предметам: не хватало терпения. У меня не было стремлений в жизни, не задумывалась, куда пойду после 10-го класса, но знала, что поеду в какой-нибудь институт. Я выбрала институт имени Герцена в Ленинграде и подала документы на литературный факультет. Экзамены выдержала, но, когда подсчитала свои «баллы», подумала: не пройду по конкурсу. Чтобы было наверняка, я перешла на факультет английского языка Института иностранных языков. Мне не очень хотелось огорчать свою мать и казалось позором вернуться в родной город, где каждый мог показать на меня пальцем.

В институте иностранных языков общежитие было очень маленькое, и я дала расписку, что в жилплощади не нуждаюсь. Я сняла комнату и платила за нее тем, что получала от матери, а ее уверяла в письмах, что мне хорошо, лгала, что я живу в общежитии и тех денег, что мне присылают, хватает (в действительности их хватало только для того, чтобы уплатить хозяйке; стипендии я не получала).

Так я столкнулась с первой трудностью, которую, может быть, и пережила бы, если бы не еще одно обстоятельство.

До этого никаких чувств у меня ни к кому не было, а тут я познакомилась с одним мальчишкой. Я не знала тогда, как и в любви-то объясняются, но думала о своем знакомом почти всегда. Мы учились в разные смены, и я стала пропускать лекции, чтобы видеть его. Я ревновала его ко всему на свете, хотя могу даже сейчас с гордостью сказать, что у нас никогда не было ничего грязного, даже в мыслях, не было ни единого поцелуя. Хозяйка однажды заметила, как я, вместо того чтобы бежать в институт, звонила ему, и сделала вывод, что

я бросила учиться, написала об этом матери. Мать отказалась помогать мне, и хозяйка меня с квартиры выписала.

В институт я больше не пошла, совсем охладела к учебе, а домой ехать не могла. Не могла даже представить, как я приеду, как встречусь со своими, а главное, стыдно было учителей. И я стала болтаться без дела.

В первое время я не знала, что можно остаться ночевать прямо на улице, и я пошла в гостиницу при Московском вокзале. Вещи сдала в камеру хранения. Но они у меня там пропали, и я осталась в чем была. Теперь мне поневоле пришлось ехать домой.

Но лучше бы я туда не ездила! Кто-то из знакомых написал туда обо мне письмо, и в маленьком городке, где все знают друг друга, пошли слухи, что я связалась с бандитами. Тяжело вспоминать, что было. Явились представители власти и потребовали, чтобы я предъявила им паспорт. Я поняла, что меня в чем-то подозревают, даже родные. Меня увели в отделение милиции и вызвали мать. Она плакала, и нас отпустили. Я два дня не показывала глаз на улицу и ждала, может быть, хоть кто-нибудь из моих учителей зайдет (?). Но никто не приходил (!). Пожалуй, вот тут и кончилось мое детство. Я поняла, что нельзя жить в такой обстановке, когда родная мать закрывает на замок ящики, наслушавшись ложных слухов, и я уехала снова в Ленинград. Дом, школа, все близкие были вычеркнуты из моей жизни, я дала слово, что никогда не вернусь туда, где мне причинили слишком много боли. С какой целью и куда я ехала, не знала.

Приехав в Ленинград, я не сделала больше никаких попыток поправить свою жизнь. Я боялась черной работы как черт ладана, но я боялась и улицы, мне было трудно привыкнуть к мысли, что у меня нет больше дома и мне негде ночевать. И я устроилась в домработницы к инженеру-женщине. Но кто станет держать прислугу, которая привыкла, чтобы за ней самой убирали?..

Я слышала о бродягах, о людях, живущих за счет воровства, спекуляции, грабежей. Знала только из рассказов и газет, и следовать их примеру никогда, наверное, не пришло бы мне в голову, если бы... Впрочем, об этом после.

Улица любит отверженных. Она принимает их днем

и ночью, в жаркое лето и в зимние вьюги. Она принимает всех, особенно женщин, но для меня она все-таки оставалась улицей. Может быть, лучше было бы стать уличной девкой, но я по своей биологии была еще девчонкой, ребенком и скорее бы убила кого-нибудь, нежели допустила до себя мужчину. И вообще, воспитанная на твердых принципах в этом смысле, я тогда и не думала, что можно было бы найти приют вот таким образом.

Я очень устала от бессонных дней и ночей и до того измучилась, что отдала бы многое, чтобы где-нибудь нормально поспать.

...Эту ночь я никогда не забуду. Я шла по городу, не зная, где приткнуться, и вдруг в переулке увидела открытую парадную дверь. Я вошла, даже не посмотрев на табличку, и поняла, что это не жилой дом, а общежитие, потому что за столом дремала женщина-вахтер. Я незаметно, чтобы она не слышала, прошла мимо и оказалась в небольшой комнате, в которой ничего не было, кроме стула, стола, тумбочки и кровати, застланной чистым бельем. Я разделась, укрылась и уснула с мыслью, что ничего страшного нет: встану, закрою комнату и уйду. А потом проснулась от крика: «Как вы сюда попали?!» Комендант быстро установил, что я «чужая», и вызвал милиционера.

В отделении меня допросили, и я рассказала всю правду. Потом ко мне привели двух студенток на очную ставку. Оказывается, в ту ночь в общежитии произошла кража, и меня в ней заподозрили. Меня не посадили тогда, так как не доказали мою вину, но подозрения не сняли. Я вошла в отделение с чистой душой, а вышла оттуда морально подавленной. Я еще не была преступницей, но уже знала, что становлюсь ею и буду воровать. «Все меня считают воровкой, и дома, и в милиции, так почему бы мне не стать ею?» — думала я.

Предоставленная самой себе, я и воровать научилась самостоятельно. У меня не было желания связаться с кем-то и залезть в карман, ограбить человека, обокрасть квартиру я не умела. Я могла украсть там, где было легко украсть. Таким местом стал институт, где все открыто, все доступно, где можно взять пусть немного, но незаметно. И я стала воровать.

Мои первые преступления были разоблачены мною же самой. Когда мне несколько раз удалось украсть

и выйти незамеченной, в моей душе еще протестовал голос человеческого разума, я проклинала себя, чувствовала, что это не для меня, и после нескольких краж не смогла — оставила записку на месте последнего преступления. Меня судили. Против меня не было никаких улик, кроме моего показания. Меня судили без свидетелей, их не было, я сама была свидетелем по своему делу, ибо не видела смысла лгать.

Здорово обвинял меня тогда прокурор, доказывая, что я написала записку, чтобы смягчить свои злодеяния. Адвокат же просил назначить мне экспертизу и доказывал, что таких «странных воров» он не видел, хотя дожил до седин. А я была, пожалуй, самым спокойным человеком среди зрителей, потому что мне было действительно все равно. Меня осудили к лишению свободы, и я приняла это как должное. Уже в тюрьме я попыталась разобраться в том, что произошло, но ничего не нашла. Меня лишь поразили обитатели тюрьмы, и, когда впервые попала в их среду, я ужаснулась и подумала: «Неужели и я такая?» На этот раз сидела недолго. Областной прокурор опротестовал приговор, и меня освободили, заменив лишение свободы годом условно. Но освобождение мне было ни к чему, я знала, что все равно буду воровать, что не хватит у меня сил и настойчивости повернуть все обратно. Так и опускалась, не делая попыток подняться.

Я не имею права сказать, что ко мне подходили неправильно и безжалостно. Наоборот, я видела, что меня слишком уж жалели, слишком сочувствовали мне, но это было еще хуже, ибо меня не жалеть было надо, а понять до конца и, как я теперь думаю, отдать в руки сильного и крепкого коллектива. Да, мне верили, что я говорю правду, но какая может быть цена той вере, если из жалости меня приговорили не к 10 годам, а к одному году лишения свободы, а для меня было одинаково страшно, что один год, что 10 или 25. Губительно было то, что, жалея меня и не понимая, что мне нужно для того, чтобы стать человеком, мне смягчали лишь меру наказания, а не делали попытки поставить меня на твердую почву, пока я еще не была искалечена морально. И я стала злоупотреблять этой ненавистной для меня жалостью. Все свои остальные преступления я совершала совершенно сознательно. Я крала со злостью загнанного зверя, не из потребности в пище, а из желания де-

лать зло во имя зла. Я могла просто выбросить украденную вещь, могла отдать какому-нибудь нищему часть денег, могла надеть на себя ворованное и ходить по городу. Я уже смотрела на жизнь иначе и считала, что лучше быть первой из плохих, чем последней из хороших.

Поскольку теперь я шесть лет провела в колонии, не могу не признать, что колония приучила меня трудиться: сейчас без особых усилий могу дать 200 процентов нормы. Но разве этому нельзя было меня научить на свободе? В остальном тюрьма наложила дурной отпечаток, и, пока я буду жить, у меня останется боль, которой не залечишь.

Я никому и ничему не верю. И если я откровенна с кем-либо, то просто из любопытства: ищу человека, который смог бы все-таки разубедить меня в моих взглядах. Тем не менее я уверена в том, что не приду больше в колонию: я слишком ненавижу здесь все, и уже поэтому не воспользуюсь больше случаем украсть.

Что со мной будет дальше, не знаю. Что я имею на сегодняшний день? Да ничего: ни дома, ни семьи, ни состояния, ничего. У меня есть голова, руки, ноги, пара белья и сын, который находится на воспитании в детском доме,— вот и все мое царство. Так как же я могу сказать, что будущее в моих руках? Могу только точно сказать, что в колонию я больше не вернусь».

Когда читаешь этот рассказ, на первый взгляд кажется, что ничего этого не было, не могло быть в жизни, настолько все это дико, путано и нелогично, и, думается, просто насочиняла глупая, взбалмошная девчонка то, что было и чего не было. Действительно, если подходить с нормальной меркой, в поступках Маховой нет логики. Ведь было много возможностей пойти другой дорогой: попросить общежитие и учиться, объяснить все родным и пойти работать на фабрику или поступить на завод в Ленинграде. Кажется, требовалось лишь небольшое усилие воли, капля решимости и здравого смысла. Но в том все и дело, что в ее поведении была другая, своя, хотя действительно очень странная и чуждая для советского человека логика, основанная на той моральной концепции, которую Махова вынесла из семьи и школы, из своего жизненного опыта. Это была логика эгоиста и потребителя, от которой до логики паразита и преступника, по сути дела, нет никакой переходной ступени.

Посмотрите: в семье она жила на всем готовом, не замечая самоотверженных усилий матери, принимая их как должное и не думая помочь ей. Помните? — «Особенно много забот мама уделяла мне... Мне это нравилось, я считала, что это естественно». В школе «училась неважно», «не хватало терпения», «не было стремлений», «не задумывалась», «но знала, что поеду в институт». Она даже не знает — в какой, но в институт, на меньшее она не согласна, хотя не помнит дня, когда бы выучила уроки по всем предметам! А как же может быть иначе, когда «дети — цветы жизни». Все ей, все для нее! «Все на свете существует лишь для того, чтобы существовала «Я» — молодое, гордое, лучезарное существо» — такова основа морали эгоиста-потребителя, выработанной Маховой к тому времени, когда она вылетела в мир из-под маминого крылышка.

Так добро обратилось во зло, человеческое «я» — в извращенное «эго» А из «эго» вытекает и его производное — эгоизм, о котором так хорошо сказал Герцен:

«Эгоизм ненавидит всеобщее, он отрывает человека от человечества, ставит его в исключительное положение; для него все чуждо, кроме своей личности. Он везде носит с собою свою злокачественную атмосферу, сквозь которую не проникает светлый луч, не изуродовавшись. С эгоизмом об руку идет гордая надменность».

До сих пор у Маховой эта мораль проявлялась лишь в отношениях к семье и школе, где ее принимали за леность, капризы, избалованность и прочие «безобидные» вещи. А теперь Махова вышла лицом к лицу с обществом, где требования больше и строже.

И вот первая трудность: не хватило «баллов». Оказывается, не всякая манна сама падает в открытый рот. Что же делать? Может быть, отступить на время, вернуться домой, поработать на фабрике, а потом снова штурмовать крепость науки? Нет, она даже не из-за страха, а из себялюбивой гордости решает: пойду в любой институт (лишь бы не возвращаться), пусть даже примут без общежития и стипендии — как-нибудь проживу. (Ведь до сих пор ей никогда не приходилось рассчитывать свой бюджет.)

Первую трудность кое-как одолела, одолела трусливо, изменив своему стремлению, но одолела, впрочем, главным образом потому, что крыло матери (деньги,

которые труженица-мать посылала) все еще охраняло от бед.

Но вот новое испытание — чувство к мужчине. Тут уж нет защиты — надо решать самой, а опыта опять-таки никакого. (Дома и в школе воспитывали на голом «табу» в отношении общения с лицами иного пола.) Чувство это захватило, подчинило, смяло Махову до того, что она забросила учебу. И опять на первом месте — «я». Я влюбилась!.. Я ревновала... Я не могла!.. И вместо учения, до которого ей, по существу, не было никакого дела, которое для нее было только формой существования того же самого необыкновенного «я»,— рассеянность, охи-вздохи и телефонные разговоры «с ним».

Мать, видимо, впервые решила ее проучить: лишила денежной помощи. Кажется, теперь уже нельзя было не понять истины: «кто не работает, тот не ест», надо что-то давать людям, чтобы иметь право существовать. Но опять «не дошло», даже мысли не появилось о том, чтобы пойти работать.

Кто-то сообщил домой слух, недалекий от истины: бездельничает, связалась неведомо с кем (бандитами?). Дома спохватились, ужаснулись и... перегнули палку со страха. Она же заслуженное недоверие восприняла как оскорбление ее персоны и, хлопнув дверью, покинула семью, чтобы продолжать жизнь паразита. «От матери, от тех, кто обязан (?) был если не верить мне, то делать вид, что верит, я ничего не видела, кроме зла». Обязаны были, по ее мнению, почему-то прибежать прежние учителя по случаю ее приезда — тоже не прибежали, и на этом кончилось, видите ли, ее детство.

И снова в огромном рабочем городе, где на каждом шагу — объявления о найме, где трудятся миллионы, ей, Маховой, и не подумалось о том, чтобы поискать работу, устроиться в рабочее общежитие. Она, правда, попыталась стать домработницей, но и на этот несложный труд у нее не хватило духу: «кто станет держать прислугу, которая привыкла, чтобы за ней самой убирали всю жизнь?»

Потом — глупое стечение обстоятельств (и опять-таки из-за сумасбродства зарвавшегося «я» — войти в чужой дом, в чужую комнату и лечь в чужую постель) — вполне естественный привод в милицию, совпадение со случившимся воровством, допрос и опять обида самовлюблен-

ного «я». «Ах, мне не верят!» «Не верят ни в семье, ни в милиции, я им покажу! Считают вором — ну что ж, буду красть!» — оправдание того, к чему неумолимо влекло все ее поведение: кто не работает, тот должен красть, хотя маскируется это все знакомой уже нам формулой «разочарования»: «мир плох, ну, значит, и я буду плох».

Нет, это все далеко не так нелогично, как кажется на первый взгляд. Оказывается, паразит может вырасти и в трудовой и самоотверженной семье, а вором можно стать не только по нужде, но и по воспитанию. Это, конечно, не сознательное выращивание и формирование преступника,— конечно, нет! — но это логика вещей — и тоже железная логика! — когда неправильное воспитание помимо воли и намерений неразумного, педагогически неграмотного воспитателя может привести его воспитанника к преступлению.

Ну, а затем, естественно: «мировая скорбь», неверие всем и вся, ненависть к людям, обвинение их в равнодушии и несправедливости и прочие обычные для взбунтовавшегося эгоиста вещи: виноват мир, виновато общество, виноваты все, кроме меня, а я — жертва.

Жертва — чего?.. Чем «раздавлена» была эта «личность», не сумевшая стать личностью? Знакомый вопрос: в чем виновато общество?

А в чем-то оно, видимо, виновато. «Виновато» в том, что неграмотная женщина, ткачиха, лишившись мужа, могла не только вырастить и дать образование четырем детям, но и избаловать их. Виновато в том, что школа — орудие, инструмент общества по воспитанию детей, видимо, не ставила своей целью подлинное, глубокое воспитание их и не только не предотвратила ошибок матери, но и сама, очевидно, наделала массу этих ошибок, выдав аттестат зрелости совершенно не созревшему для жизни человеку. Виновато оно, видимо, и в том, что просмотрело начало падения человека и не остановило его вовремя. Ведь сама же Махова с редкостной до цинизма откровенностью признает: «Я не имею права сказать, что ко мне подходили неправильно или несправедливо. Наоборот, я видела, что меня слишком уж жалели и слишком сочувствовали мне».

Да, во всем этом общество несомненно виновато. Но это не та вина, это совсем не то, что прежде: «голод, холод, жрать нечего». Здесь сказались не строй, не

основные принципы и закономерности нашей жизни, а опять-таки нарушение этих принципов и закономерностей. Это — недоделки общества и «недодумки», это — то, что нужно и должно нам обязательно додумать и доделать. Это несомненно.

А личность? — еще раз поставим мы тот же вопрос. Личность — часть общества, и ее жизнь, ее устремления и поведение, в какой-то маленькой, бесконечно малой, может быть, но несомненно реальной доле тоже определяет и жизнь, и лицо общества.

Значит, надо не подчиняться слепому течению жизни, а быть выше его, не болтаться, как утлый челн, по волнам житейского моря, а направлять ход своего челна по тем звездам, которые видны в небе. А вот если нет для тебя этих звезд, если не видишь их, если затмило их для тебя собственное непомерное «эго» и «плохое» и «хорошее» по сравнению с ним потеряло для тебя свой нравственный смысл («лучше быть первой среди плохих, чем последней среди хороших» — подумать только!), значит, ты играешь роль не творящего и созидающего, а разрушительного начала в обществе.

Вот так и Махова. В ее возрасте, и даже моложе, Зоя Космодемьянская пошла на виселицу с именем Родины на устах. В ее возрасте, и даже моложе, герои «Молодой гвардии» стояли насмерть, поднявшись до героических вершин самопожертвования.

А мало ли других, самых будничных, но не менее ярких примеров из мирной жизни?

Для всего этого нужны усилия, работа, борьба. А разве способен на нее иждивенец, по самой своей психологии иждивенец общества, которому ни до чего, кроме себя, нет дела? Не удалось задуманное, не получилось?.. Обидели? Оскорбили? Ну и пошли вы все в тартарары! «Ненавижу!» — вот она та самая себялюбивая надменность, о которой говорил Герцен.

«Я уже слишком презирала все живое, я слишком много пережила от людей и не могла простить им... Внутренний мир свой я закрыла от всех и никому не давала заглянуть в него глубже... Я слишком ненавижу все... Я никому и ничему не верю... В этом была сила моей ненависти к людям». И дальше все я... я... я!.. «Лучше быть первой из плохих, чем...»

Вот так и разгулялась в поле непогодушка!

«Мне становится безразлично, как оскорбить, лишь бы

оскорбить. Конечно, вам этого не понять!» — пишет она мне.

Да, честно говоря, не понять! И не только мне. Даже ее товарки по несчастью, по месту заключения, писали потом мне о ней совершенно нелестные вещи:

«Я сама воспитала двоих детей и могу сказать, что во многом виновата ее мать. Она ее любила, чрезмерно баловала и сделала ее эгоисткой, которая с детства привыкла делать так, как ей нравится, и не считаться с окружающими. В камере она вела себя так, что нам, женщинам, было стыдно, что так может вести себя молодая женщина, имеющая образование. Это — потерянная женщина, ее имя гремело на всю тюрьму, для нее администрации не существовало, она оскорбляла ее, как хотела, бросалась на дежурных, из карцера она почти не выходила».

Отсидев шесть месяцев в тюрьме строгого режима, в одиночной камере, Махова несколько присмирела и была направлена в колонию. Вот отзыв оттуда, тоже не от администрации, а от заключенной:

«Она не желала работать в валяльном производстве, гнушаясь этого грязного дела. Ее отношение к труду, как и все действия, говорили о том, что она крайне избалована родителями, а потом упустила сама себя. Ее интересовали лишь развлечения и, чего больше, у нее где-то растет сын, а она ни разу не послала ему даже конфетки.

Она — мелкий трусишка-воришка, который крадет, что легко «прихватить», но она «великан» среди компании стиляг, она даже в колонии не просила, а требовала танцев. Ее так и звали у нас стилягой.

Она, как маленький зверек, огрызалась, ругалась, извергала похабную брань, не понимая того, что коллектив сильнее ее и чище».

Часть нашей переписки с Маховой была опубликована в местной, специальной печати, и это вызвало целый поток живых и горячих откликов со стороны заключенных. Вот один из них.

«Здравствуйте, Тамара!

Прочитав в нашей местной газете письмо писателя Медынского к вам и ваше объяснение по этому поводу, я решил черкнуть вам. Просто мне захотелось от души, сердечно, как человеку одной с вами судьбы, поговорить по-товарищески.

Мы читали эти письма группой в несколько человек.

Правда, кое-кто из тех, кого метко называют морально одичавшими, отнеслись к переписке скептически, дескать, агитация, «телегу толкают», что на нашем здешнем языке, как вы знаете, означает — врут. Те же, кто мучительно ищут свой путь в большую жизнь и напряженно размышляют о наболевших вопросах, касающихся личной судьбы, думали совершенно иначе.

Мне особенно родственно ваше положение и состояние «мятущейся души». Ведь порой все твое существо восстает при виде всех ненормальных явлений в преступной среде, где приходится жить и дышать гнилым воздухом, и тогда чувство берет верх и, если не сумеешь взять себя в руки, получаются срывы. Основное — надо раз и навсегда поставить себя в определенные рамки и знать свои нормы отношения и поведения, воспитывать в себе свои личные положительные стороны и вырабатывать самоконтроль. Тогда и грязь с тебя слезает, как с гуся вода.

В мое сознание не укладываются ваши слова: «ненавижу людей». Только крайний эгоист может это сказать. Как бы ни ломала и ни корежила меня жизнь, я не доходил до такой дикой мысли и всегда понимал, что ненависть к людям — это гибель. Тогда уж камень на шею и в омут. Это ужасно — ненавидеть людей».

Так говорит человек, осужденный на 25 лет за крупное ограбление и теперь понявший «все концы жизни». А вот другой, 15 лет находящийся в заключении:

«Такому человеку, который не умел правильно ценить свою жизнь и не заметил широких дверей института, трудно понять строй, при котором он живет, и личное ему дороже, чем общее большое. Если у этой, Маховой, украдут туфли, она будет громче всех кричать: «Засадите этого паразита в тюрьму, он принес мне убыток!» А если обокрадут государственный универмаг — это не ее, она пройдет мимо».

«Я не хочу дойти до состояния Маховой,— пишет третий,— лучше умереть, чем жить среди людей, не веря в них и ненавидя их. Разве это не страшно? Один среди людей! Живой труп».

Я сознательно привел письма заключенных. Ведь в оценках большинства наших людей можно не сомневаться, но представители злого мира иной раз готовы поставить их под сомнение.

Но вот они же — своя же братия,— не сговариваясь,

из разных уголков страны клеймят этого распоясавшегося, дошедшего до крайней степени морального разложения эгоиста. Такова логика жизни.

Выйдя на свободу, Махова поехала на целину, в совхоз, но глаз коллектива, даже коллектива заключенных, не оставил ее и там. Вот что пишут мне о ней:

«Вот теперь она уехала на целину и работает в совхозе (она пишет оттуда нашему начальнику). Пишет, что «не выражается», но это может быть. Махова очень любит, чтобы о ней говорили, а поэтому знает, что о ней будут говорить, если она будет жить в совхозе. Но если бы можно было посмотреть в душу через рентгеновский аппарат, то картина была бы иная. У нее огромное желание жить легко и красиво, но чтобы эта жизнь была бы ей кем-то дана.

Единственно, что спасет ее и удержит в здоровом коллективе,— это ее стремление делать все наоборот. Если сказали, что она не удержится в совхозе, она будет работать назло всем, но не потому, что ей эта работа нравится. Труд для нее — источник денег не для семьи, а для себя. А попробуйте ей предложить неоплачиваемую работу, общественную, но с затратой значительной силы, она освободится от нее любой ценой.

Безусловно, в здоровом коллективе совхоза постараются подтянуть ее, привить ей хорошие качества, но на это потребуется очень много времени и сил. И конечно, коллектив на свободе быстрее добьется от Маховой хорошего поведения, чем в колонии, потому что там сотни хороших, а единицы плохих, вернее, с плохими характерами, себялюбцев.

Мне очень хотелось бы, чтобы Тамара стала хорошим человеком, женщиной скромного поведения, матерью. Ведь если она займет правильное место в жизни, будет радостно и нам, которые еще находятся в местах заключения. Очень хочется, чтобы у нее родилась вера в людей, чтобы она полюбила народ, окружающий ее. Ведь она еще молодая, но характер ей нужно менять, он ее лютый враг».

Все это очень верно — о характере, о преступности, вырастающей из характера, обо всем этом и я настойчиво писал Маховой:

«Если чрезмерно высоко, на первый план, ставить свою собственную личность, вернее, даже персону, «эго», и считать других лишь средством для достижения

своих личных целей, это и является одним из основных элементов преступного сознания, может быть, даже его психологической основой. Ведь отсюда и растет преступление: я — все, я — центр, а все остальное — мир, люди, общество — лишь средство для моего существования. А так как это «остальное» тоже имеет свои права, то это «я», «эго» переступает через все общественные права и идет туда, куда ему нужно, куда его тянут личные и более низменные цели.

И вот тогда на него опускается рука общества, ибо общество должно существовать, и его законы должны быть выше законов личности, иначе оно распадется, и жизнь превратится во всеобщую грызню...

Вы вините всех, кроме себя, в вас я не вижу работы над собой, над осмысливанием и переоценкой себя. А без этого вам нельзя. Вам нужно убить в себе ненависть к людям, побороть грубость, распущенность и безудержное своеволие...

Вы не рассчитывайте на мое сочувствие и ни в коем случае на мое, хотя бы малейшее, заступничество. Никого и ни о чем я просить не буду. Вы должны сами себя взять за волосы и вытащить из болота, в которое вы забрели, на крепкую дорогу. Другого пути нет.

А для этого вы должны, прежде всего, взяться за свой характер. Нечего носиться с ним — «мой характер, мой характер!». Нужно перестроить характер, а это дается трудом. Труд над собой, неусыпный контроль над собой, тренировка, дрессировка себя! Самодисциплина.

Вам нужно победить в себе внутреннюю расхлябанность, ибо на хляби ничего не построишь. Иначе вы, даже получив освобождение, снова что-нибудь выкинете, и тогда будет еще труднее. Ведь не может же общество без конца носиться с одним человеком и терпеть его выходки.

Одним словом, вам нужно внутренне подготовить себя к свободе. Родники силы таятся в самом человеке. Цель и труд — вот что формирует человека».

Чтобы подкрепить все это, я собрал все отзывы ее товарищей по несчастью и при личной встрече передал ей. Она обиделась на них и на меня: ей никто не указ и мнение людей для нее, что ветер в поле.

Это же подтвердили и вести, которые я стал получать из совхоза: озлобленные «до остервенения», по ее собственному выражению, со стороны Маховой, и очень

тревожные — со стороны коллектива. Ничего преступного она не совершила, и будем надеяться, не совершит, но жить ей с людьми будет трудно, и людям жить с нею будет неприятно, как неприятна она была и мне. В основе всей ее жизни и поведении лежит вот это самое необузданное «эго», которое разрослось как злокачественная раковая опухоль и своими метастазами оплело и выело все клеточки ее души. И поэтому внутренне, психологически она остается носителем преступности, пусть даже по трусости, расчету или предусмотрительности она и не совершит впредь чего-то наказуемого.

Вот почему, мне кажется, слова поэта Заболоцкого прямо адресованы Тамаре и ей подобным:

Как посмел ты красавицу эту,
Драгоценную душу свою,
Отпустить, чтоб скиталась по свету,
Чтоб погибла в далеком краю?
Пусть непрочны домашние стены,
Пусть дорога уводит во тьму —
Нет на свете печальней измены,
Чем измена себе самому.

* * *

Однажды в вагоне метро мне пришлось наблюдать такую сцену. Ехала группа молодых мужчин, видимо рабочих. Они о чем-то оживленно разговаривали, о каких-то своих делах. Особенно горячился один, с серыми, немного навыкате, тревожными глазами.

— А если он работать умеет, а не хочет,— чему он равняется?

Поезд остановился, мне нужно было выходить. Люди эти тоже вышли, сгрудились около мраморной колонны, и тот, с тревожными глазами, снова повторил свой вопрос:

— Нет, вы скажите, чему он равняется?

Меня заинтересовал и разговор, и этот человек, но задерживаться было неудобно. Я пошел своей дорогой, так и не поняв сущности дела, и подумал: а ведь это, пожалуй, самый главный вопрос и нравственности, и воспитания, и жизни: чему равняется человек? Чего он стоит? В чем смысл и ценность человеческой жизни? И одно дело — как относиться к человеку, другое — как человек относится к себе.

Как горько слушать голоса людей с неудавшейся,

разбитой жизнью, людей, которые ничего не дали своему времени, и время не заметило их: осталась пыль и взаимные обиды. Ведь понятие «человек» включает не только то, что ты вообще живешь, но и то — как ты живешь? Тем и определяется «общественная стоимость» личности — как, в каком направлении решает она те вопросы, которые ставит перед нею жизнь.

Подлинная человеческая личность — это творящая частица общества, его живая, растущая и плодотворная клетка. Общество — не арифметическая сумма личностей, а очень сложная их совокупность. Оно имеет и свои собственные, присущие ему законы, но в то же время оно не может жить и развиваться без развития личностей, которые, вбирая в себя все, что дает им общество, жизнь не просто потребляют это, а внутренне перерабатывают, осмысливают, привносят в него то, на что они способны, свои наиболее высокие мысли и эмоции, и в таком осмысленном, обогащенном виде возвращают все это обществу и на какой-то шаг, пусть самый маленький, движут его вперед. Пример тому судьба Саши Пшеная, который прошел через все трудности жизни, и вышел на прямую широкую дорогу, которой шагает весь наш советский народ. И таких людей, сумевших перешагнуть через овраги и колдобины жизни, осиливших тяжелые преграды на пути к светлому, радостному, счастливому,— у нас больше, чем таких, как Махова.

На память мне пришла еще одна судьба. Поначалу у этой девушки жизнь складывалась очень похоже на начало жизненного пути Тамары. Судите сами.

«Мне очень хочется рассказать о том, что произошло в моей жизни за один год. Почему-то я очень хотела стать журналистом. Что именно влекло меня к журналистике — трудно понять. Просто хотелось все время ездить, быть среди людей. Новые впечатления, люди. Но конкурс я не выдержала. Домой ехать и неохота, и почему-то было стыдно.»

Так же было и у Маховой. А потом дороги разошлись.

«Раз мне хочется чего-нибудь необыкновенного, новых впечатлений, значит, надо ехать на стройку. И вот шестнадцать девушек, таких же «неудачниц», как и я, приехали на строительство казахстанской Магнитки. Ни у кого из нас не было строительной специальности.

Но работа не ждет: мы и учились, и работали. Через три месяца получили удостоверения штукатуров 4-го разряда. Смешно вспомнить, как неумело мы держали мастерок в руке, каким тяжелым казалось ведро с раствором и как боялись мы пройти по трапу через канаву. Теперь мы сами смеемся, вспоминая первую прогулку по стройке. Сейчас мы строим жилье для рабочих будущего завода.

Трудно было зимой, приходилось по очереди топить печи-времянки, чтобы не замерзала штукатурка. Длинной-длинной была ночь, кажется, что никогда не настанет утро. О многом думаешь, сидя около печи — и о доме, и о будущем, вспоминаешь, что ты делала в это время в прошлом году?

Интересно наблюдать пробуждение стройки. Сначала в окнах загораются огни, а потом на белом поле начинают появляться движущиеся точки: это люди идут на работу. А ближе к восьми они идут сплошным потоком. И все — строители.

Ветер часто менял направление, печи дымили. Дорогу часто заметало снегом, машины не ходят, значит, раствор нам не привезут. Но не было случая, чтобы девушки ушли с работы. Все переносили вместе.

Были среди нас и такие, кто проклинал себя, что приехал, что вот, мол, убегу домой. Приходилось всей бригадой переубеждать, стыдить.

Сдружились мы за девять месяцев на стройке, пережили суровую зиму, теперь ничего не страшно. Проверили свои характеры, лучше узнали себя, разобрались в своих желаниях. Теперь готовимся поступать в институт — кто куда, но уже заочно.

Мы нисколько не жалеем, что приехали сюда, наоборот, очень довольны: здесь мы прошли еще одну школу — школу жизни, познали радость труда, горечь неудач, научились переносить трудности и невзгоды,— этому в институтах не учат.

А сейчас мы активно участвуем в озеленении нашего города. Возле кинотеатра посадили деревья, возле каждого дома по будущему «Проспекту Строителей».

Идешь по городу и про себя отмечаешь: вот твой первый объект, где началась твоя трудовая жизнь; этот дом штукатурили, когда первый раз выпал снег. И радостно становится, что ты не в стороне от этого полезного дела, что и твой труд приносит пользу».

Вот что значит — настоящая, живая, богатая личность, творческое начало в жизни. Мечтала о журналистике, о широкой арене, поездках, впечатлениях, людях. Но — «провалилась»! Ну что тут поделаешь? Провалилась! Вы помните, как с этой самой неудачи начала путать и окончательно запутала свою жизнь Тамара Махова. А Нина Замятина не упала духом, не сдрейфила, не заблудилась, а, наоборот, осмыслила тот участок жизни, который перед нею волею судеб открылся, и светом своей личности осветила и облагородила неинтересное, будто бы и трудное, и скучное, и грязное занятие штукатура. И вот мы сидим с нею около дымящейся печки, и видим, как по снегу к стройке ранним утром цепочкой тянутся рабочие; вместе с нею радуемся тому, как растут дома на пустынных землях; вместе с нею представляем, как шумят только что посаженные деревья на будущем «Проспекте Строителей». Поэзия!

Так одни и те же обстоятельства и противоречия жизни были разрешены на совершенно разных, принципиально разных нравственных уровнях. Пшенай и Нина Замятина с одной стороны, и Тамара — с другой.

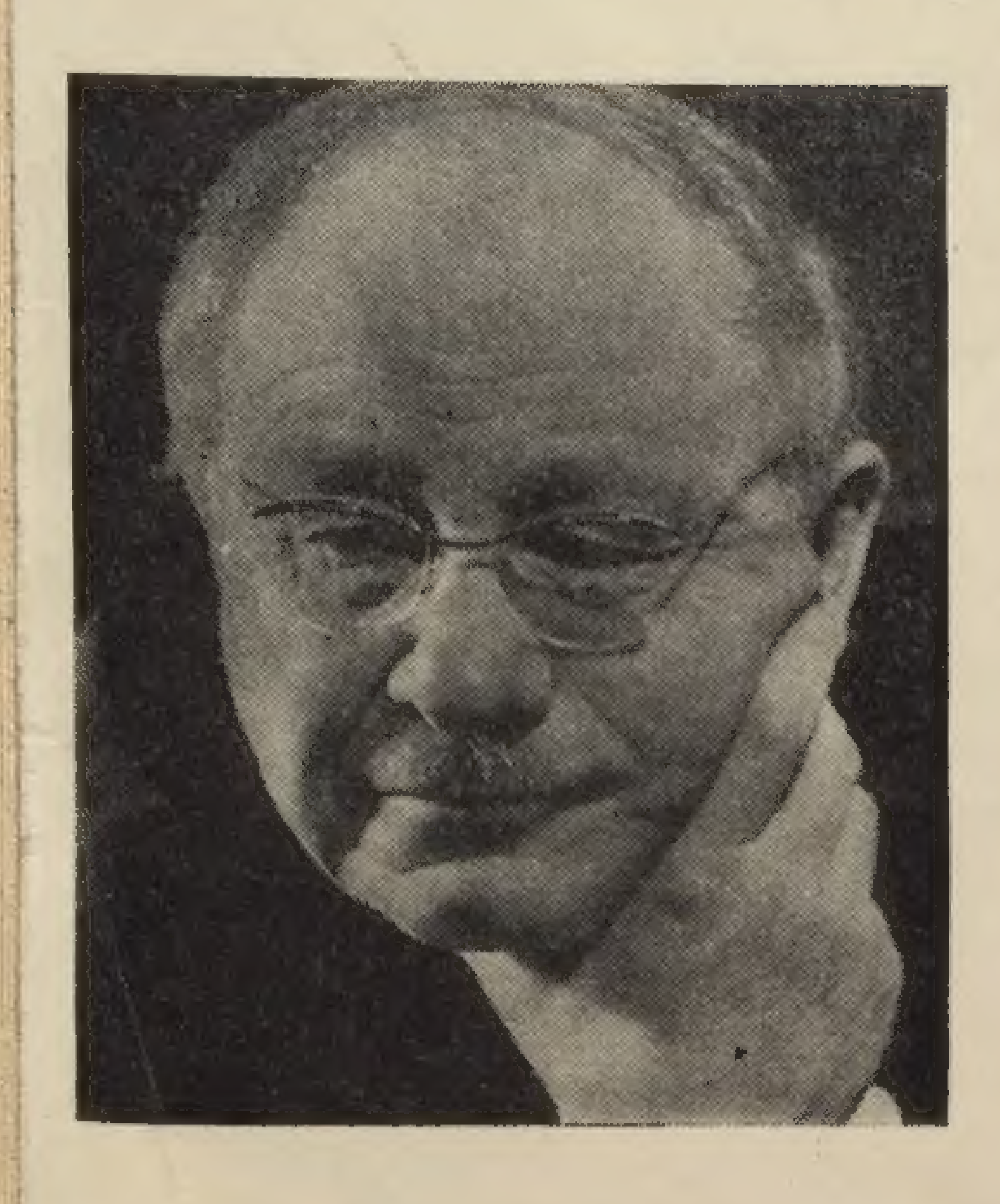
Формирование нравственной личности является проблемой воспитания и, прежде всего, в семье и школе. И не «пятерочник», не слесарь или доярка, не «кадры» должны быть, в конечном, глубоком смысле, целью воспитательной работы, а человек высоконравственный, организованный, общественный человек, из которого потом выработается квалифицированный или еще недостаточно опытный — это дело наживное,— но прежде всего добросовестный слесарь, честный ученый, военачальник или общественный деятель.

Но воспитание немыслимо без самовоспитания, без активной и направленной деятельности человека, без его сознательных усилий по формированию самого себя. Недаром говорит русская поговорка: «Человек — сам себе мудрец, сам себе подлец и сам своему счастью кузнец». Из всей совокупности того, что ему дают семья, воспитатели, школа, книги и все прочие общественные влияния, он, в конечном счете, отбирает то, что ему подходит, он выбирает свой жизненный путь и определяет свою судьбу сам, и больше никто.

Кстати, об этом же сказал и Маркс: «Опасность, угрожающая жизни каждого существа, заключается в утрате им самого себя».

■

15 коп.



Григорий Александрович Медынский. Советский писатель, лауреат Государственной премии СССР, работает в литературе с 1925 года.

Г. А. Медынский известен советскому читателю своими романами и повестями — «Самстрой», «Девятый «А», «Марья», «Повесть о юности», «Честь» и публицистическими книгами «Трудная книга» и «Пути и поиски».

Центральной темой всех произведений автора являются вопросы воспитания человека в семье, в школе, в трудовом коллективе, в общественной жизни.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ